



Дмитрий Игнатъев

Где
Господь
МОЛЧИТ...

Дмитрий Игнатъев

Где Господь молчит...

<https://litres.ru/74123287>

SelfPub; 2026

Аннотация

Историческая повесть погружает в Рим эпохи Ренессанса, где папа Александр VI Борджиа становится живым воплощением цинизма, прикрытого святостью. Центральный художественный тезис — наместник Бога априори безгрешен, а значит, его деяния, от яда до инцеста, суть проявления божественной воли. Автор исследует механику абсолютной власти, превращающей ложь в истину, а преступление — в догмат. Через череду сцен — от симонии на конклаве до отравлений и «банкета каштанов» — раскрывается психология тирании и разложение церковной машины, где индульгенции продаются, а совесть заменяется золотом. Роман представляет собой мрачную анатомию безнаказанности и неизбежного возмездия, где сакральное и греховное сливаются воедино.

Дмитрий Игнатьев

Где Господь молчит...

Где Господь молчит преступление становится догматом

Пролог. «Избрание зверя»

Рим задыхался. Августовское солнце, повисшее над Кампо деи Фьори раскаленным диском, обратило вечный город в котёл с кипящей нечистотами, пылью и тревогой. Уже вторую неделю кардиналы Святой Римской Церкви, запертые в стенах Ватиканского дворца, не могли избрать преемника почившему Иннокентию VIII. В переулках шептались, что запертые князя Церкви скорее передушат друг друга, чем договорятся, ибо каждый из них, забыв о Святом Духе, взыскует лишь земной короны. Воздух вокруг собора Святого Петра был пропитан запахом ладана и серы, и казалось, что сама вечность замерла в ожидании, кого же изрыгнет из своей утробы этот священный вертеп.

Родриго Борджиа, кардинал-епископ Порто, вице-канцлер Церкви и обладатель самого тяжелого кошелька в Италии, ожидания не боялся. В просторной, обитой кордовской кожей комнате, отведенной ему на время конклава, он сидел в глубоком кресле, напоминавшем трон, и наблюдал за игрой свечного пламени на гранях хрустального кубка с охлажден-

ным кипрским вином. Ему было шестьдесят два, но выглядел он мужчиной в полном расцвете сил: бычья шея, мощный торс, чувственные, полные губы и глаза — черные, блестящие, живые, как ртуть, — которые никогда не выдавали истинных мыслей. В них можно было прочесть что угодно: отеческую нежность, священный гнев, благочестивую задумчивость, но только не холодный, прагматичный расчет ростовщика, оценивающего долговую расписку. А ведь именно этим он и занимался последние часы. Перед ним на столе лежал не молитвенник, а список: двадцать три имени, и напротив каждого — короткие, точно удары кинжала, пометки. «Имение в Пизе. Аббатство в Субиако. Доходы с соляных копей. Страх перед французами».

Родриго знал людей лучше, чем свой требник. Он сорок лет провел в курии, пережил четырех пап, скопил несметные богатства и пустил глубокие корни в самую гнилую почву церковной бюрократии. Его ненавидели, ему завидовали, его боялись. Но более всего — в нем нуждались. И сейчас, когда двери Сикстинской капеллы захлопнулись за спинами выборщиков, нужда в его золоте стала невыносимой физической болью для многих. Асканио Сфорца, брат миланского герцога и хитрый лис, еще вчера клялся в дружбе, но требовал непомерной цены: должность вице-канцлера (его, родригову, должность!), дворец и полное прощение долгов. Джулиано делла Ровере, племянник Сикста IV, брызгал слюной, обличая «каталонского быка» в симонии и разврате, но

и его голос можно было либо купить, либо заткнуть, пообещав крепости в Романье. Был еще сладкоречивый Оливьеро Карафа, ревнитель чистоты веры, и безвольный старец Паллавичини, и нервный Микели — все они были звеньями одной цепи, которую Родриго намеревался замкнуть на своей груди.

Он сделал глоток вина. Терпкая влага обожгла горло, но не принесла облегчения. Родриго думал о пророчестве. Старый циничный кардинал, умиравший от французской болезни, как-то сказал ему, смеясь: «Ты будешь папой, Родриго. Ибо Господь наказывает мир за грехи, и не сыскать большего грешника, чем ты, чтобы стать Его наместником». Он тогда отшутился, но сейчас, глядя на тени, пляшущие на стене, чувствовал, как в груди поднимается не страх, а горячая, почти животная жажда. Не власти над душами — что ему были эти плебеи с их вонючими лохмотьями и деревянными четками? — а власти абсолютной, той, что делает ложь истиной, а кровь — вином для причастия. Папа непогрешим. Это не догма, пока лишь мнение теологов, но кресло под балдахинном дарует иммунитет, который не снился кесарям. Если он сядет на Престол Святого Петра, его дети станут принцами, его любовницы — богинями, а его враги — пылью под туфлей с золотым крестом.

Снаружи, в узком коридоре, послышался шорох. Родриго не обернулся. Он знал, что это его доверенный камерленго, Педро Кальдерон, крадетсся с докладом. Дверь скрипнула,

пропуская запах пота и лавандовой воды.

— Ваше Высокопреосвященство, — голос испанца дрожал от возбуждения. — Все готово. Четыре мула, груженных серебром, стоят во дворе дворца Сфорца. Еще два — у ворот дома Орсини. Секретарь кардинала Карафа только что унес пергамент с обещанием епископства в Куэнсе для его племянника.

— А делла Ровере? — Родриго медленно провел пальцем по краю списка, стирая чернильную пометку напротив имени врага.

— Мечется, как раненый вепрь. Он уже предложил французскому королю инвеституру, но у короля Карла пока нет армии в Риме. А вот у нас, — Кальдерон хищно оскалился, — есть золото, которое ходит быстрее курьеров. Асканио Сфорца уже колеблется.

— Сфорца? — Родриго усмехнулся. — Асканио продаст душу, если цена будет достаточно высока, а почерк дьявола напоминает подпись банкира. Ступай, Педро. И проследи, чтобы вино в капеллу подавали разбавленное. Мне нужно, чтобы эти святые отцы оставались достаточно трезвыми, чтобы подписать договор, но достаточно пьяными, чтобы не думать о его последствиях.

Оставшись один, Родриго Борджиа подошел к окну, забранному частым переплетом. В щели виднелся залитый лунным светом купол древней базилики Святого Петра, грузный, как оплывшая свеча. Там, под этими сводами, поко-

ился прах апостола, рыбака, которому Христос вручил ключи от Царства. Родриго усмехнулся. Ключи. Вот уже полторы тысячи лет эти слова толкуют так, как выгодно живым. Апостол Петр был беден и умер на кресте вниз головой. Его же преемники кутаются в горностаи и травят друг друга мышьяком. Истина не в Писании, она в силе. Истина в том, что мир принадлежит тому, у кого хватит воли взять его.

Ночь перед решающим голосованием тянулась бесконечно. Родриго не спал. Он сидел в кресле, перебирая четки из черного янтаря, и смотрел, как оплывает воск в высоком канделябре. Ему не молилось. Слова молитв казались пустой скорлупой, бессмысленным шумом. Вместо «Отче наш» он мысленно перечислял свои будущие деяния. Сначала — коронация, пышная, какой не видел мир со времен цезарей. Он въедет в Латеран на белом коне, а Чезаре, его прекрасный и яростный сын, будет держать стремя. Лукреция получит дворец, достойный королевы, и мужей, которых можно менять, как перчатки. Джованни станет герцогом, Джулия Фарнезе — неофициальной королевой Ватикана. А сам он, Александр VI (имя было выбрано давно — в честь великого македонского завоевателя), превратит Церковь в империю, скрепленную не молитвами, а кровью и золотом.

Утром, когда в узкие окна Сикстинской капеллы просочился серый, пыльный свет, пятьдесят три кардинала, облаченные в пурпур, собрались под сводами, расписанными еще только начинающим входить в славу флорентийцем Буонар-

роти. Фрески на стенах изображали сцены из жизни Моисея и Христа, но взгляды выборщиков были прикованы не к ним. Родриго занял свое место на скамье, чувствуя, как скрипит под грузным телом дерево. Он видел, как переглядываются его сторонники, как нервно теребят наперсные кресты колеблющиеся. Запах застарелого ладана, пота и мокрой шерсти отсыревших ряс смешивался в удушливую атмосферу предвкушения предательства.

Служба к Святому Духу прошла механически. Кардинал-декан бормотал молитвы, гнусавя и спеша, словно хотел поскорее избавиться от священного долга. Родриго, склонив голову, незаметно наблюдал за Асканио Сфорца. Тот сидел, сжав челюсти, и на его холеном лице играли желваки. Он уже знал цену, которую потребовал Борджиа за свою благосклонность, и колебался, как меняла, взвешивающий фальшивую монету. Рядом с ним шептались кардиналы Орсини и Колонна, представители двух враждующих римских семейств, готовых вцепиться друг другу в глотки прямо у алтаря. Делла Ровере, прямой и костистый, сидел с каменным лицом, напоминая надгробное изваяние.

Первое голосование прошло впустую. Голоса раздробились, как хрусталь, упавший на мрамор. Второе — тоже. В перерыве, когда кардиналы вышли в смежную залу, чтобы промочить горло, Родриго приблизился к Сфорца. Он не сказал ни слова. Просто взял его под локоть и подвел к окну. Внизу, во внутреннем дворе, у самой стены, выстрои-

лись в ряд шесть мулов, навьюченных серебряными слитками. Солнце играло на металле, и от этого зрелища перехватывало дыхание. Асканио побледнел. Серебро манило и пугало одновременно, словно сам Маммон подмигивал ему из бездны.

— Это лишь задаток, — прошептал Родриго одними губами, почти не разжимая рта. — Дворец в Борго, вице-канцлерство и рука моей дочери для твоего бастарда. А взамен — твой голос и голоса твоих верных псов.

Сфорца проглотил слюну. Его зрачки расширились, поглотив радужку, как жадность поглощает совесть. — Вице-канцлерство... — прохрипел он. — И полное прощение долгов моей миланской казне?

— Клянусь саном, — солгал Родриго, перекрестившись широким жестом, который не оставлял сомнений в его искренности лишь тем, кто хотел быть обманутым.

Сделка была заключена. Вернувшись в капеллу, кардиналы расселись по местам. Началось третье голосование. Имена звучали, как удары молота. Когда секретарь конклава выкрикнул: «Суффрагиум акцедит...», и число голосов в пользу Родриго перевалило за заветные две трети, в капелле повисла тишина. Делла Ровере вскочил, лицо его исказила гримаса ярости. — Симония! — выкрикнул он, срывая голос. — Святотатство! Вы продали Святого Духа за испанское серебро!

Но его уже никто не слушал. Кардиналы, еще минуту на-

зад бывшие соперниками, теперь спешили присягнуть победителю. Асканио Сфорца первым опустился на колени перед Родриго, поцеловал его перстень и произнес дрожащим от волнения (или алчности) голосом: «Да здравствует папа Александр Шестой».

Родриго поднялся. Тяжелая пурпурная мантия кардинала соскользнула с плеч, как шкура, которую сбрасывает змея. Слуги уже несли белоснежную сутану, стихарь и алую мантию с горностаевой опушкой. Он стоял в центре капеллы, позволяя облачать себя, как идола. В эти минуты, пока его грудь стягивали драгоценным наперсным крестом, а на голову водружали сначала белую камилавку, а затем и тяжелую, мерцающую рубинами тиару, Родриго Борджиа не думал о Боге. Его взгляд был прикован к массивной дароносице на алтаре, где хранились Святые Дары. «Сколько унций золота ушло на эту безделушку? — мелькнула деловая мысль. — Надо будет поручить Чезаре переплавить старую утварь, сделаем монеты. Бог поймет, он сам был сыном плотника».

Когда облачение было завершено, кардинал-протодьякон, старик с трясущейся головой, приблизился и возложил на плечи Александра палий — символ папской власти. «Прими тиару, украшенную тремя венцами, и знай, что ты — отец князей и королей, правитель мира, наместник Спасителя нашего Иисуса Христа», — прошамкал он по памяти, путая латинские окончания. Под сводами капеллы раздался нестройный хор: «Te Deum laudamus». Кардиналы пели

гимн, прославляющий Бога, но глаза их были прикованы к новому владыке. В этом пении было не благоговение, а страх и подобострастие, готовность служить новому источнику золота и власти.

Вскоре распахнулись тяжелые створки балкона собора Святого Петра, выходящего на площадь. Ослепительный свет полуденного солнца ударил в лицо Александру VI, когда он шагнул вперед, чтобы дать первое благословение *Urbi et Orbi*. Площадь внизу кишела народом. Тысячи глаз, тысячи ртов, извергающих приветственный рев. Он поднял руку в тяжелой, шитой жемчугом перчатке и медленно, почти лениво, осенил толпу крестным знаменем. «Да снизойдет на вас благословение Отца, и Сына, и Святого Духа», — прогремел его голос, усиленный акустикой колоннады. И эта ложь, облаченная в ритуальные одежды, была столь величественна, что народ пал на колени, рыдая и крестясь. Они видели перед собой не старого, похотливого испанца, купившего трон за серебро, а самого Наместника Божьего, сошедшего с небес.

Рядом с папой, чуть позади, стоял церемониймейстер Иоганн Бурхард — педантичный немец с постной миной и вечным пергаментом в руках. Именно он наклонился к самому уху Александра, когда тот, закончив благословение, повернулся, чтобы уйти в прохладу базилики. Слова, произнесенные сухим, лишенным всякой эмоции голосом церемониймейстера, эхом отозвались под каменными сводами, предназначенные не для толпы, а для истории, для самого

мироздания:

— *Santitas vestra*, отныне вы — скала, на которой стоит Церковь, и врата ада не одолеют вас. Помните: вы непогрешимы. Ибо не вы говорите, но Бог через вас. Ваши деяния — это Его деяния. Ваша воля — Его воля.

Александр остановился. Медленно, словно пробуя на вкус эти слова, он обернулся к Бурхарду. В его черных, маслянистых глазах промелькнула искра понимания, смешанная с циничным торжеством. Он улыбнулся уголками губ — улыбкой, которая могла означать и отеческое благословение, и сатанинскую усмешку.

— Ты прав, Иоганн, — произнес он тихо, по-итальянски, с легким каталонским акцентом. — Я непогрешим. Следовательно, греха больше не существует. Есть только воля.

Он двинулся дальше, и тяжелая тиара слегка покачивалась на его голове в такт шагам, отбрасывая на стены кроваво-красные блики. За ним следовала вереница кардиналов, сгибающихся в поклоне, как колосья под ветром. А где-то внизу, в римских катакомбах, куда никогда не заглядывает солнце, уже начал зарождаться смрадный запах тления, которому суждено было пропитать весь Вечный город. Запах абсолютной, неограниченной власти, которая, по догмату льстецов, должна была пахнуть ладаном, но на деле пахла мертвечиной. Машина папства, гниющая изнутри, получила нового машиниста, и шестерни ее, смазанные золотом, завращались быстрее, перемалывая человеческие судьбы в

труху.

Глава 1. «Цена Райских ключей»

В покоях Апостольского дворца, тех самых, что некогда занимали аскетичные предшественники нынешнего понтифика, теперь пахло не воском и плесенью, а мускусом, апельсиновым маслом и тонкой пылью дорогих тканей. Прошло три дня с момента коронации, и Александр VI еще не успел до конца обжить гигантские залы, но уже превратил их в подобие восточного гарема, смешанного с банковской контрой. Утро четвертого дня его понтификата выдалось душным и блеклым. Густой, словно прокисшее молоко, туман напал с Тибра, лизал мраморные ступени лестницы и забирался в открытые окна, принося с собой запах гниющей рыбы.

Папа проснулся поздно. Он лежал на гигантском ложе под балдахином из генуэзского бархата, расшитого золотыми пчелами Барберини, и рассматривал свои руки — пухлые, унизанные перстнями пальцы, способные с одинаковой легкостью сжимать причастную гостию и горло врага. Рядом, утонув в подушках, спала Джулия Фарнезе, ее золотистые волосы разметались по подушке, словно расплавленное солнце. Александр позволил себе несколько мгновений праздности: провел ладонью по теплой спине любовницы, ощущая под пальцами атласную гладкость юной ко-

жи, и усмехнулся. Кто посмеет упрекнуть его? Кардинал-камерленго? Епископы? Они все здесь — его креатуры, посаженные на кормление. А если кто и пискнет, то святой престол обладает прекрасной акустикой, чтобы заглушить любые крики звоном монет.

Он откинул тяжелое одеяло и, кряхтя, спустил ноги на пол, обитый мягким ковром, вывезенным из разграбленной мавританской Гранады. Тотчас из тени у двери бесшумно выступил молодой секретарь — Франческо, красивый, как девушка, юноша с маслянистыми глазами и повадками цепного пса. Он уже держал в руках серебряный таз с розовой водой и льняное полотенце. Омовение прошло в молчании. Папа терпеть не мог болтовни по утрам. Он думал о делах.

А дел было много. Война с Неаполем? Инвеститура для французского короля? Нет, это подождет. Сейчас самая насущная нужда — казна. Проклятая казна Святого Престола, которая оказалась пуста, как выеденное яйцо, после пиршеств предыдущего папы и его лекарей-шарлатанов. Чтобы купить голоса на конклаве, Родриго опустошил свои личные сундуки, но свято место, вернее, казначейство, пусто не бывает. Деньги нужно было вернуть с лихвой, и для этого существовал механизм старый, как сама Церковь, но требующий дерзкой, истинно борджианской переработки. Индульгенции. Отпущение грехов. Не жалкие гроши с паломников за целование статуй, а системная, поставленная на широкую ногу торговля райским блаженством.

Облачение в повседневные одежды было не менее сложным ритуалом, чем коронация. Слуги затянули на груди папы белоснежную рясу из тончайшего льна, на плечи набросили муаровую мощетту, отороченную горностаем, а на ноги надели мягкие туфли из красного бархата с вышитым золотом крестом — тот самый священный предмет, к которому скоро будут припадать губами короли. На безымянный палец Александр собственноручно надел «перстень рыбака» — массивный золотой диск с изображением святого Петра, тянущего сеть. Печатка, способная утвердить любой указ, превратить убийство в подвиг, а ересь — в догмат.

Выйдя в малый тронный зал, известный как Зал Попугаев, Александр VI погрузился в работу. Зал был украшен фресками, на которых пестрые тропические птицы, привезенные из Нового Света, порхали среди виноградных лоз. Это был любимый сюжет папы — яркий, экзотичный, далекий от суровых ликов святых. В центре зала стоял трон из черного дерева, инкрустированный слоновой костью. Александр опустился на него, чувствуя, как пружинят подушки. Перед ним уже выстроились просители и чиновники курии. Здесь были кардиналы, епископы, секретари, и среди них — Джованни Баттиста Феррари, датарий, человек с лицом хорька и пальцами, постоянно перебиравшими воображаемые монеты. Он отвечал за датарию — ведомство, где скреплялись папские милости.

— Возлюбленные братья, — голос Александра прозвучал

в тишине мягко, почти вкрадчиво, — Господь наш Иисус Христос оставил нам ключи от Царства Небесного. Но даже дверь в рай, увы, требует смазки для петель. Церковь земная, воинствующая, нища и ободрана еретиками. Я размышлял всю ночь, и Святой Дух наставил меня на путь истинный.

Он сделал паузу, обводя собравшихся взглядом. Кардиналы замерли, боясь пропустить откровение. — Отныне грех обретает цену. Справедливую, соответствующую его тяжести, — продолжил папа. — Таинство покаяния остается в силе, но для тех, кто взыскует полного отпущения без долгих епитимий, мы учреждаем специальные грамоты. Апостольские индульгенции. Кто внесет пожертвование на нужды Святого Престола, тот получит прощение не только прошлых, но и будущих грехов на столько лет, сколько купит.

По залу пробежал шепот. Не возмущения — курию ничем нельзя было возмутить, — а чисто делового интереса. Феррари шагнул вперед, сжимая в руке свиток пергамента. — Ваше Святейшество, мы подготовили предварительную таксу, — произнес он скрипучим голосом, и его маленькие глазки блеснули, как у крысы, нашедшей головку сыра. — Прошу вашего утверждения.

Папа взял пергамент, развернул его и принялся читать, водя пальцем по строчкам. Список был составлен с истинно бухгалтерской скрупулезностью. «За убийство мирянина — 5 дукатов. За убийство клирика — 10 дукатов, за епископа — 20. За прелюбоддеяние с замужней женщиной — 6 дуката».

тов, с монахиней — 9. За клятвопреступление — 3 дуката. За содомию — 10 дукатов. За отпущение греха без исповеди — дополнительная такса в зависимости от сана и дохода просителя». Александр VI читал и чувствовал, как внутри него разливается теплое, почти экстатическое чувство. Он не видел в этом списке ничего чудовищного. Напротив, это был шедевр законодательной логики. Если у мира есть цена, почему бы не выразить ее в звонкой монете? Если его, папы, воля — это воля Бога, значит, он уполномочен свыше назначить стоимость искупления. «Власть ключей, вверенная мне, делает черное белым», — прошептал он про себя, пробуя будущую фразу, достойную войти в историю.

— Дополните пунктом о ереси и колдовстве, — приказал он, возвращая свиток. — Это сейчас модно. И сделайте градацию для тех, кто желает освободить из Чистилища души умерших родственников. Это золотая жила. Глупцы будут платить, чтобы их мамыши не жарились на адской сковороде. Назначь стартовую цену в 25 дукатов.

Феррари угодливо закивал, пятясь к двери. Но папа еще не закончил. Он поднял руку, призывая всех к вниманию. — А теперь, — голос его стал тверже, — пусть введут первого просителя. Я хочу лично даровать первое апостольское отпущение по новой таксе. Пусть весь Рим узнает, что рай открыт для всех, у кого есть кошелек.

Через несколько минут тяжелые дубовые двери зала запахнулись. В сопровождении двух швейцарских гвардейцев,

стуча алебардами по мраморному полу, в зал вошел человек. Он был высок, широкоплеч, но шел сгорбившись, словно нес на плечах невидимый груз. Одежда его — добротный, но измятый бархатный колет с чужого плеча, высокие сапоги, на которых запеклась грязь римских переулков, — выдавала в нем человека военного, мелкого дворянина, возможно, кондотьера без войны. Лицо его было грубым, с тяжелой челюстью и низким лбом, глаза бегали по сторонам, ища угрозу, а на щеке краснел свежий шрам. Он рухнул на колени, едва переступив порог, и пополз к трону, цепляясь пальцами за плиты пола, выложенные малахитом.

— Святой отец, помилуйте! — хриплый, срывающийся крик разорвал тишину зала. — Я величайший грешник! Руки мои по локоть в крови! Но я верный сын Церкви!

Александр VI смотрел на него сверху вниз. Этот коленопреклоненный дикарь, воняющий винным перегаром и страхом, был первым клиентом нового предприятия. Папа слегка подался вперед, и на его полных губах заиграла улыбка. — Назови свое имя и преступление, сын мой, — произнес он медовым голосом, в котором, однако, звенела сталь. — Покайся перед наместником Божьим. Помни, я вижу твою душу насквозь, и ложь усугубит твою кару.

Несчастный, запинаясь и глотая окончания слов, начал исповедь. Его звали Никколо Вителли, он был солдатом удачи из Читта-ди-Кастелло. Неделю назад в пьяной драке из-за шлюхи он зарезал кинжалом молодого патриция из семьи

Каэтани. Убил не таясь, на глазах у десятка свидетелей, после чего бежал в Рим, надеясь на убежище в храме. — Я знаю, что достоин смерти, — выл он, колотя себя кулаком в грудь. — Но я слышал, что Ваше Святейшество может отпустить любой грех... Я готов заплатить!

В зале повисла пауза. Приближенные кардиналы и прелаты затаили дыхание. Каэтани были знатным родом, родственниками самого Бонифация VIII, но сейчас это не имело никакого значения. Все взгляды были устремлены на Александра. Папа откинулся на спинку трона, сложил руки домиком на животе и задумчиво посмотрел на фреску с попугаем, сидящим на гранатовой ветке. — Церковь, Никколо, — начал он, и голос его зазвучал как проповедь, — есть мать милосердия. Она скорбит о каждой заблудшей овце, но также и печется о своем стаде. Кровь, пролитая тобой, вопиет к небесам. И небеса через меня, своего глашатая, назначают тебе цену искупления.

Он сделал знак рукой. Вперед выступил писец в черной сутане, неся перед собой на вытянутых руках, словно святыню, большой лист тонкого, выделанного из телячьей кожи пергамента. В верхней части листа уже был вытиснен герб Борджиа — пасущийся бык, символ мощи и неукротимости. — Диктуй, — коротко приказал папа датарию Феррари. Тот вынул из рукава свиток с таксой и прочитал: — «За преднамеренное убийство благородного лица, совершенное мирянином в пьяном виде, но с отягчающими обстоятельством»

ми публичного скандала, полагается пожертвование в размере тридцати золотых дукатов и благочестивое обязательство совершить паломничество к ближайшей святыне». — Тридцать дукатов? — папа поморщился, словно от зубной боли. — Дешево. Каэтани — знатный род. Не будем мелочиться, брат Феррари. Напишем сорок. И паломничество — в Лорето, это подальше. Чтобы у Рима было время забыть его лицо.

Перо писца заскрипело по пергаменту, выводя витиеватые латинские буквы. Никколо, услышав сумму, побледнел. Сорок дукатов — это почти все, что у него было, включая выручку от продажи коня и украденный у убитого кошелек. Но страх смерти перевесил жадность. Он судорожно закивал: — Я заплачу, Святой отец! Все отдам! До последнего медяка!

— Не мне, — Александр поднял указательный палец, униженный аметистом. — Не мне, а в казну Святого Петра. Ибо деньги сии пойдут на возведение новых храмов, на борьбу с неверными, на украшение алтарей Господних. Ты не откупаешься от греха, неразумный, ты жертвуешь на благое дело, и эта жертва засчитывается тебе как добродетель.

Тем временем индульгенция была готова. Это был не просто клочок бумаги, а произведение бюрократического искусства. В верхней части — титул папы, перечисляющий все его владения, вплоть до «смиренного раба рабов Божьих». Далее — богословское обоснование: ссылки на власть ключей, на слова Христа, обращенные к Петру. И только потом, в середине текста, мелкими, но четкими буквами — формула от-

пущения: «Властью Всемогущего Бога, переданной нам через Святого Петра, мы полностью отпускаем тебе, Никколо Вителли, грех убийства, совершенного тобой, и снимаем с тебя всякое пятно вины, даже если бы оно было зарезервировано лично за Апостольским Престолом. И да не понесет душа твоя наказания ни на земле, ни в Чистилище».

Александр взял документ. Он не стал читать — текст был стандартным, одобренным еще его предшественниками. Но он поднес пергамент близко к лицу, шумно вдохнул запах свежих чернил, смешанный с запахом разогретого воска для печати. Этот запах опьянял его сильнее вина. Он взял тяжелую золотую буллу — печать с изображением ликов апостолов Петра и Павла, — и с силой прижал ее к комку горячего красного воска, капнувшему на пергамент. Раздался хруст, словно сломалась чья-то кость. Печать легла идеально, скрепив сделку между небом и землей. — Подойди, — приказал папа.

Никколо на коленях подполз ближе. Он достал из-за пазухи кожаный мешочек, набитый монетами, и дрожащей рукой положил его к подножию трона. Золото глухо звякнуло о мрамор. Но папа даже не взглянул на деньги. Он смотрел на человека. — Прими отпущение грехов, — произнес Александр VI и протянул пергамент убийце. — Иди и впредь не греши. Хотя, — добавил он с усмешкой, которая показалась Вителли скорее отеческой, чем кошунственной, — если согрешишь снова, двери наши всегда открыты. Церковь не

бросает своих детей, сколько бы раз они ни падали, если они готовы искупать падение благочестивыми дарами.

Приближенные заплодировали. Нет, не громко, не театрально, но с тем сдержанным, почтительным одобрением, каким встречают удачный ход шахматного гроссмейстера. Кардинал Алессандро Фарнезе, брат Джулии и будущий папа, низко наклонил голову, пряча усмешку в седой бороде. Кардинал Монреале прошептал соседу: «Пятьдесят таких визитов — и мы сможем нанять армию против Орсини». Никколо, пятясь и прижимая пергамент к груди, словно он был дороже самой жизни, исчез за дверями. А его золото уже пересыпали в ларец, который уносили в папскую сокровищницу.

Но Александр VI еще не закончил. Он встал с трона, и все в зале тут же опустились на колени. Папа медленно сошел по ступеням возвышения на середину зала. Его бархатная туфля с золотым крестом оказалась прямо перед лицом французского посла, прибывшего на аудиенцию. Посол, опытный дипломат, ни секунды не колебался. Он припал губами к вышитому кресту на туфле, запечатлев поцелуй унижения и признания абсолютной власти. За ним, один за другим, потянулись епископы, аббаты, светские бароны. Эта процессия целования туфли была отвратительна и величественна одновременно. Каждый из них, склоняя спину, мысленно подсчитывал, сколько может заработать, угождая этому быку в тире. Каждый знал, что папа — развратник, симонит, убийца,

но их губы касались шитого золота с искренним религиозным трепетом, потому что он был Папой. А значит, любое его деяние, даже самое гнусное, освящалось его непогрешимостью.

Вечером того же дня, когда город окутали сумерки, Александр ужинал в узком кругу своих ближайших родичей в небольшой трапезной, украшенной фресками с изображением пира Ирода. Чезаре, облаченный в пурпур кардинала, который сидел на нем как на волке овечья шкура, разрезал жареного фазана и мрачно молчал. Лукреция, сияющая золотом волос и жемчугов, смеялась над шуткой очередного папского секретаря. Джулия, полулежа на софе, кормила засахаренными фруктами ручного леопарда. За окнами, во влажной тьме, затаивший дыхание Рим ждал утра, чтобы понести в датарию свои деньги, страхи и преступления.

Александр VI поднял кубок с темным, как кровь, фалернским вином. — Сегодня мы открыли врата рая, — произнес он, и его черные глаза блеснули в свете свечей. — И они оказались с турникетом. За процветание нашего дела!

Придворные выпили стоя. И никто в этой комнате, заполненной смехом и звоном посуды, не заметил в углу, рядом с клеткой попугая, ухмыляющуюся тень с ключами в руках. Тень апостола Петра, который, казалось, отвернулся от своего преемника, оставив его наедине с бездной.

Золотой век дома Борджиа начался не с пушечных залпов и не с подписания межгосударственных трактатов, а с чернил. С густых, ароматных, слегка отливающих блеском растертого жемчуга чернил, которыми папские нотариусы выводили на девственно чистых листах пергамента слова, способные перекроить саму ткань реальности. Ибо что есть реальность в глазах Церкви, как не то, что записано в ее реестрах, скреплено печатью Рыбака и провозглашено с амвона? Александр VI, в миру Родриго Борджиа, понимал это лучше, чем кто-либо из живших на земле. Он знал, что истина не рождается в спорах теологов и не открывается в молитвенном экстазе — она формулируется в канцелярии, оплачивается золотом и утверждается властью. И теперь, когда власть эта принадлежала ему безраздельно, он намеревался переписать историю собственной плоти, превратив бастардов в принцев, а позор — в славу.

День, назначенный для оглашения первых апостольских установлений, касающихся семьи понтифика, выдался на редкость погожим. Сентябрьское солнце, мягкое и золотистое, как разлившееся по небесной чаше оливковое масло, заливало внутренний двор Ватиканского дворца, где под сенью вековых пиний прогуливались павлины, привезенные из садов Медичи. В воздухе пахло нагретой хвоей, ладаном из открытых дверей капеллы и едва уловимым ароматом жасмина, который источали цветущие кусты, высаженные вдоль

галереи еще при папе Николае V. Казалось, сама природа благословляла начинания нового понтифика, одевая Вечный город в праздничные ризы.

Но внутри дворца, в личных апартаментах Александра, царила атмосфера не умиротворения, а напряженного, почти хищного ожидания. Здесь, в просторной зале, обитой кордовской кожей с тиснением в виде гранатовых яблок — символа плодородия и единства, — собрались те, кого папа именовал своим истинным сокровищем. Его дети. Его кровь. Его священное семя.

Чезаре Борджиа, старший сын и главная гордость отца, стоял у высокого стрельчатого окна, опершись плечом о мраморный косяк. Ему только недавно минуло семнадцать, но в его фигуре, затянутой в строгий черный бархат, уже угадывалась та пружинистая, звериная грация, которая позже заставит трепетать всю Италию. Он был высок, широк в кости, с длинными мускулистыми руками, способными без видимого усилия натянуть тетиву боевого лука или переломить хребет некстати подвернувшемуся простолюдину. Его лицо — смуглое, с резкими, словно высеченными из песчаника чертами, — обрамляли густые волосы цвета воронова крыла, а глаза, унаследованные от отца, горели темным, недобрым пламенем. Он не был красив в классическом понимании — красота его была хищной, тревожной, как красота притаившегося перед прыжком леопарда. На груди его, поверх черного камзола, уже красовалась пурпурная перевязь кардина-

ла-диакона — сан, полученный им в шестнадцать лет, еще при жизни предыдущего папы, в результате сложной и циничной сделки, стоившей его отцу целого состояния. Но сан этот был пока что пустым звуком, формальностью, не утвержденной консисторией. Сегодня все должно было измениться.

Чуть поодаль, в глубоком кресле с высокой резной спинкой, сидел Джованни Борджиа, второй сын, герцог Гандийский. Если Чезаре был олицетворением яростного, мужественного начала, то Джованни, напротив, казался воплощением изнеженной, капризной женственности. Он был младше Чезаре всего на год, но выглядел так, словно природа, создавая его, перепутала глину, предназначенную для сестры. Тонкие, почти девичьи черты лица, пушистые золотистые локоны, ниспадающие на плечи, большие светлые глаза с поволокой — все в нем дышало ленью, пресыщенностью и смутной, еще не оформившейся порочностью. Одежда его была кричаще роскошна: камзол из серебряной парчи, расшитый рубинами и жемчугом, панталоны из фиолетового шелка, туфли с длинными, загнутыми кверху носами, украшенными золотыми бубенцами. Он сидел, закинув ногу на ногу, и лениво поигрывал веером из страусиных перьев, всем своим видом демонстрируя скуку и превосходство.

Наконец, в центре залы, на небольшом возвышении, напоминавшем сцену, стояла она — Лукреция Борджиа, единственная законная (пока лишь в глазах немногих посвящен-

ных) дочь папы. Ей едва исполнилось тринадцать, но она уже была женщиной в полном смысле этого слова — женщиной, чья красота заставляла забывать о возрасте. Золотые волосы, ниспадавшие почти до колен, обрамляли лицо такой ангельской чистоты и правильности, что художники, видевшие ее, в отчаянии ломали кисти, понимая невозможность передать это совершенство земными красками. Огромные, широко расставленные глаза цвета балтийского янтаря смотрели на мир с выражением затаенной печали и кротости, а тонкие, изящно очерченные губы, казалось, были созданы не для речей, а для поцелуев и молитв. Она была облачена в платье из белоснежного атласа, расшитое серебряными лилиями — цветами Девы Марии, — и стояла, смиренно опустив руки, как святая на церковном витраже.

Четверо младших детей — Джоффри, Хуан, Изабелла и маленький Педро, рожденные от разных матерей, но признанные папой, — скромно сидели на скамье у стены, под присмотром кормилиц и дуэний. Они еще не понимали смысла происходящего, но чувствовали торжественность момента и вели себя на удивление тихо, словно стайка испуганных птенцов.

Александр VI вошел в залу стремительно, почти ворвался, словно вихрь, разметав полы своей белоснежной сутаны. Он был в отличном расположении духа. Глаза его сияли, щеки покраснелись, движения были энергичны и порывисты. Он только что вернулся с утренней аудиенции, где принял

присягу от послов Флоренции и Милана, и теперь предвкушал куда более приятную церемонию — ту, что должна была закрепить его кровные узы в вечности. За ним, словно тени, следовали двое: уже знакомый нам датарий Феррари с неизменным свитком в руках и кардинал Алессандро Фарнезе, брат прекрасной Джулии, человек с лицом римского патриция и душой ростовщика.

— Дети мои! — голос папы прозвучал как фанфара. — Приблизьтесь ко мне. Все, все подойдите. Сегодня великий день. Сегодня Господь, благословивший меня высшим саном на земле, благословляет и мое отцовство. Сегодня мы с вами докажем миру, что кровь Борджиа — это не просто кровь, а священный елей, изливающийся от престола Святого Петра на всю Италию!

Он обнял Чезаре, потом Джованни, потом нежно, почти благоговейно прикоснулся губами ко лбу Лукреции, осенив ее крестным знамением. Младшие дети по очереди подходили под его благословение, целовали перстень Рыбака и отходили обратно. Затем Александр взмахом руки приказал всем занять свои места, а сам опустился в массивное кресло, стоявшее на возвышении. Слуга поднес ему кубок с разбавленным вином. Папа сделал глоток, промокнул губы платком и обратился к Феррари:

— Читай, брат Джованни. Читай громко, чтобы слышали не только эти стены, но и сам Святой Петр, вззирающий на нас с небес.

Датарий откашлялся, развернул длинный, исписанный убористым почерком пергамент и начал читать. Голос его, скрипучий и монотонный, заполнил залу, словно звук мельничного колеса:

— «Александр, епископ, раб рабов Божьих, всем верным христианам, кои прочтут сию грамоту, — приветствие и апостольское благословение. Поелику Господу Всемогущему было угодно призвать нас на высочайшую ступень апостольского служения, мы почитаем своим первейшим долгом печься не токмо о благе Церкви Вселенской, но и о благополучии тех, кто связан с нами узами крови и естества. Ибо сказано в Писании: "Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного" ...»

Папа слушал, прикрыв глаза и слегка покачивая головой в такт словам. Он знал текст наизусть — он сам диктовал его нотарию три дня назад, — но сейчас, в присутствии детей, каждая фраза приобретала новый, почти сакральный вес. Это было не просто юридическое уложение. Это было заклинание. Акт творения. Он, Александр, подобно библейскому патриарху, созидал из хаоса незаконнорожденности новый порядок, где его дети становились князьями.

Тем временем Феррари продолжал:

— «...По сей причине мы объявляем и утверждаем нашей апостольской властью, что Чезаре, рожденный от законного брака, признается нашим истинным сыном и наследником

всех прав и привилегий, подобающих отпрыску столь высокого рода...»

Чезаре, стоявший у окна, едва заметно усмехнулся. «Рожденный от законного брака». Какая прелесть! Он прекрасно помнил свою мать — Ваночцу деи Каттанеи, римскую куртизанку с огненными волосами и душой тигрицы, которая тридцать лет была любовницей Родриго и родила ему четверых детей. Законного брака между ними никогда не существовало, если не считать таковым тот фарс с подставным мужем, старым писцом Доменико д'Арриньяно, которому заплатили за согласие носить рога. Но теперь, когда перо папского нотариуса коснулось пергамента, фикция становилась фактом. Иллюзия обретала плоть закона.

— «...Джованни, рожденный от законного брака, признается нашим истинным сыном и утверждает в достоинстве герцога Гандийского с правом наследования всех земель, титулов и доходов, сопряженных с оным...»

Джованни на мгновение перестал обмахиваться веером. Его губы тронула легкая, самодовольная улыбка. Герцогство Гандийское — лакомый кусок, вырванный у испанской короны. Он представил себе земли, виноградники, замки и коленопреклоненных вассалов. Правда, придется, возможно, съездить в эту дикую Испанию и жениться на какой-нибудь инфанте, но это потом. А пока — слава, золото и зависть старшего брата, который, при всем своем кардинальстве, оставался всего лишь клириком.

— «... Лукреция, рожденная от законного брака, признается нашей истинной и возлюбленной дочерью, и мы жалуем ей титул герцогини Сполетской с правом передачи оного ее будущим детям...»

Лукреция стояла неподвижно, как мраморное изваяние. Только ресницы ее едва заметно дрогнули, когда прозвучало ее имя. Титул герцогини. Ей, тринадцатилетней девочке, еще не знавшей мужчины. Впрочем, она знала достаточно, чтобы понимать: титул — это не награда, а инструмент. Отец использует ее, чтобы скрепить союз с каким-нибудь влиятельным родом. Так было, так будет. Она опустила глаза и принялась тихо перебирать жемчужные четки, обвивавшие ее запястье.

Когда чтение буллы закончилось, Александр VI поднялся с кресла. Он простер руки к детям, и в этом жесте было что-то от ветхозаветного пророка, благословляющего свое потомство. — Теперь вы — не просто моя кровь, — произнес он, и голос его зазвенел, как натянутая струна. — Теперь вы — кровь Церкви. Ваши враги — это враги Престола. Ваши друзья — друзья Христа. Помните это. И пусть никто не смеет попрекнуть вас происхождением, ибо отныне само Небо удостоверяет вашу законность.

Придворные, стоявшие вдоль стен, разразились аплодисментами. Кардинал Фарнезе, склонившись к уху казначея, прошептал: «Он только что создал королевскую династию одним росчерком пера. Это почище чуда с хлебами и рыба-

ми». Казначей в ответ хмыкнул и принялся подсчитывать, сколько будет стоить церковной казне содержание новоявленных герцогов.

Но главный акт спектакля был еще впереди. Папа сделал знак рукой, и двери залы распахнулись вновь. На сей раз в сопровождении двух дюжих швейцарских гвардейцев в залу внесли массивный, обитый бархатом аналой, на котором покоилась пурпурная кардинальская шапка — галеро. За аналоем следовала процессия кардиналов-выборщиков, тех самых, что еще недавно торговались за голоса на конклаве, а теперь покорно шествовали за своим новым господином. Среди них выделялся Оливьеро Карафа — старый, сморщенный, похожий на высушенную мумию неаполитанец, известный своим благочестием и ненавистью к Борджиа. Он был приглашен не случайно — его присутствие должно было придать церемонии видимость законности и примирения. Карафа шел, опираясь на посох, и губы его шевелились, творя молитву, но глаза смотрели на Александра с плохо скрываемым отвращением.

— Братья мои во Христе, — обратился папа к кардиналам, когда те заняли свои места. — Сегодня я прошу вас утвердить моего сына, Чезаре Борджиа, в сане кардинала-диакона Санта-Мария-Нуова. Хотя он и юн годами, но зрелость ума и твердость духа делают его достойным сего высокого призвания. Я свидетельствую перед вами и перед Господом, что он чист сердцем, крепок в вере и готов слу-

жить Церкви мечом и словом.

Чезаре шагнул вперед и опустился на колени перед отцом. Вблизи было видно, как напряжены его плечи, как побелели костяшки пальцев, сжимающих молитвенно сложенные руки. Для него это был не просто обряд. Это был рубеж, отделявший его прошлую жизнь — жизнь незаконнорожденного выскочки, — от будущего, где он становился одной из ключевых фигур христианского мира. Он знал, что отец готовит для него иной путь — путь воина, а не священника, — но сейчас, на этом этапе большой игры, кардинальский пурпур был необходим как щит и как оружие. Ибо в Риме даже убивать удобнее, прикрываясь саном князя Церкви.

Оливьеро Карафа сделал шаг вперед. Его старческий, надтреснутый голос разнесся под сводами залы: — Ваше Святейшество, дозволено ли будет сказать слово?

Александр нахмурился. Он ожидал сопротивления, но не так скоро и не от этого сухого аскета. — Говори, брат Оливьеро, — произнес он с холодной любезностью.

— Святой Престол всегда был убежищем добродетели, — начал Карафа, и каждое его слово падало в тишину, как камень в колодезь. — Кардинальский сан есть сан апостольский. Его носители суть советники наместника Христа, князя Церкви, чьи руки должны быть чисты от мирской грязи. Я не сомневаюсь в достоинствах юного Чезаре, но... — старик сделал паузу, обводя взглядом собрание, — но всем известно, что он рожден вне брака. Что мать его — женщина,

чье имя не произносят в приличном обществе. Не будет ли сие назначение соблазном для верующих, поводом для злословия врагов Церкви?

В зале повисла звенящая тишина. Кардиналы замерли, боясь вздохнуть. Чезаре, стоя на коленях, медленно поднял голову и впился взглядом в лицо старого неаполитанца. В его черных глазах промелькнуло что-то такое, от чего выдавшие виды прелаты поежились. Но папа опередил сына.

Он поднялся с кресла и медленно, почти величественно спустился с возвышения. Его лицо было спокойно, но в голосе зазвучал металл, который не предвещал ничего хорошего. — Брат Оливьеро, — произнес он, и каждое его слово падало, как удар молота, — ты упомянул о рождении моего сына. О его матери. О том, что сие может стать соблазном для верующих. Что ж, я отвечу тебе, и отвечу как папа, а не как отец.

Он сделал паузу, обводя взглядом замерших кардиналов. — В Священном Писании сказано: «Плодитесь и размножайтесь». Сказано: «Благословен плод чрева твоего». Плодовитость, брат мой, есть знак Божьего благоволения, а не проклятия. Когда Господь избирает человека для великих дел, Он дает ему великую силу — силу продолжать свой род, оставлять на земле свое семя, свое подобие. Разве патриархи Ветхого Завета не имели множества жен и наложниц? Разве царь Давид, прообраз нашего Спасителя, не родил Соломона от Вирсавии, жены Урии? И разве рождение это было про-

клято, а не благословлено?

Карафа попытался возразить: — Но, Ваше Святейшество, Церковь требует от своих служителей безбрачия...

— А от мирян, — резко перебил его Александр, — Церковь требует плодовитости! Мои дети были рождены до того, как я взошел на Престол Святого Петра. Тогда я был кардиналом, но еще не папой. Я был связан обетом целомудрия, но обет этот, как учат теологи, может быть снят высшей властью. Ныне я — папа. Я — источник канонического права, а не его раб. И я говорю тебе, Оливьеро, и всем вам, братья: священный сан, к которому ныне приобщается мой сын, не пятнает его происхождением, но, напротив, освящает его. Подобно тому, как крещение смывает первородный грех, так кардинальский пурпур смывает все пятна незаконнорожденности. Отныне Чезаре Борджиа — не бастард, а князь Церкви, и горе тому, кто посмеет утверждать обратное.

С этими словами он взял с аналая пурпурную шапку и собственноручно возложил ее на голову сына. Чезаре склонился еще ниже и поцеловал край папской мантии. В этот момент в зале снова раздались аплодисменты — на сей раз более сдержанные, но все же достаточно громкие, чтобы заглушить стук сердца старого Карафы, который понял, что проиграл. Система, которую он пытался защитить, сама же и поглотила его.

Вечером, когда официальная церемония завершилась, в личных покоях папы началось то, что хронисты позже назо-

вут «вечерей в доме Ирода», а сами участники — «скромным семейным ужином». На деле же это была оргия, облеченная в форму дружеского застолья, — мероприятие, на котором стирались последние границы между сакральным и плотским.

Зал, служивший для неофициальных приемов, был освещен сотнями восковых свечей, расставленных в золотых канделябрах. На столах, накрытых скатертями из фламандского кружева, громоздились блюда с жареными павлинами, фаршированными трюфелями, заливными угрями, пирамидами из засахаренных фруктов и графины с темным фалернским вином. Вдоль стен, на скамьях, обтянутых алым бархатом, возлежали гости — кардиналы, епископы, папские секретари, а также куртизанки, приглашенные для «услужения взору». Среди них блистала Джулия Фарнезе, официальная фаворитка папы, облаченная в полупрозрачное платье, расшитое золотыми нитями, сквозь которое просвечивало ее совершенное тело. Она сидела по правую руку от Александра и время от времени прикладывала к его губам кубок с вином, смеясь грудным, волнующим смехом.

Чезаре, уже в кардинальском облачении, сидел по левую руку от отца. Он пил мало и не притрагивался к женщинам, которых ему то и дело подсовывали угодливые придворные. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, поверх голов пирующих, и в этом взгляде читалась мрачная решимость человека, который знает, что его час еще не пробил, но готовится

к нему с холодной методичностью. Джованни, напротив, был в центре внимания. Уже изрядно захмелевший, он обнимал сразу двух римских блудниц и громогласно распевал непристойные куплеты на тосканском диалекте, срывая аплодисменты захмелевших прелатов.

Лукреция присутствовала на ужине лишь формально. Она сидела в дальнем конце стола, в окружении своих фрейлин, и почти не притрагивалась к еде. На ней было платье из серебристого шелка, скромно закрывавшее плечи и грудь, а ее золотые волосы были убраны под прозрачную вуаль. Она напоминала ангела, случайно попавшего на шабаш. Время от времени она поднимала глаза на отца, и в этих глазах читалось странное, пугающее выражение — смесь обожания, страха и чего-то еще, что даже самый искусный физиономист не сумел бы расшифровать.

Когда вино полилось рекой, а гости утратили последние остатки сдержанности, Александр VI поднялся с места и ударил золотым перстнем о край кубка, призывая к тишине. — Дети мои, друзья мои, верные слуги Престола! — провозгласил он, и его низкий, хорошо поставленный голос перекрыл шум пира. — Сегодня мы узаконили то, что и так было освящено самой природой. Моя кровь признана священной. Мои дети — принцы. Но я хочу, чтобы вы знали: это только начало. Я намерен создать из дома Борджиа величайшую династию, которую когда-либо знала Италия. Мы будем править не только Римом, но и всей Тосканой, Романьей, Неаполем!

Мой сын Чезаре станет мечом Церкви. Мой сын Джованни — ее скипетром. Моя дочь Лукреция — ее короной. И горе тому, кто встанет у нас на пути, ибо на нашей стороне — сам Господь Бог!

Он поднял кубок, и все присутствующие вскочили на ноги, вторя ему: — Да здравствует папа Александр! Да здравствует дом Борджиа! Слава, слава, слава!

В этот самый момент, словно по какому-то дьявольскому наущению, один из слуг, убиравший со стола блюда, споткнулся и опрокинул на скатерть кубок с красным вином. Вино растеклось по белоснежному льну алым пятном, напоминающим кровь. На мгновение в зале воцарилась тишина — все взгляды устремились на зловещее пятно. Но папа лишь расхохотался и, схватив Джулию за талию, воскликнул: — Добрая примета! Вино — это кровь Христова, а Христос всегда с нами! Пейте же, братья, и веселитесь, ибо рай принадлежит нам!

Оргия продолжалась до рассвета. Когда первые лучи солнца пробились сквозь тяжелые портьеры, осветив разгромленный зал, спящих вповалку гостей, опрокинутые кубки и груды объедков, Александр VI, сидя в кресле с бокалом неразбавленного вина, смотрел на эту картину и улыбался. Он чувствовал себя Богом. Богом, создавшим свой собственный мир, где нет места греху, ибо грех — это лишь тень, отбрасываемая светом папской тиары.

А где-то в глубине дворца, в своей спальне, Лукреция сто-

яла на коленях перед распятием и тихо молилась. Слезы текли по ее лицу, но она не знала, о чем плачет — о своей погубленной невинности, о будущем, полном страха и неопределенности, или о том, что, несмотря на все молитвы, она не чувствовала в своей душе ничего, кроме ледящей пустоты. Система, в которой она родилась и выросла, перемолола ее, как перемалывала всех — и святых, и грешников. И не было из этой системы выхода.

Глава 3. «Месса на крови»

Кардинал Микеле, урожденный Лоренцо де Кастильоне, племянник покойного папы Сикста IV и дальний родич могущественного геновского рода Дориа, умирал мучительно и долго. Три дня и три ночи его тело, распростертое на огромном ложе под балдахином с гербами делла Ровере, корчилось в судорогах, словно в него вселились бесы. Знаменитые римские врачи — толстый, вечно потеющий Теодоро Гвидаччи, лейб-медик самого папы, и сухой, как щепка, испанец Гаспар Торрелья, славившийся своим искусством врачевать от ядов, — сменяли друг друга у постели больного, но их усилия были тщетны. Кардинала рвало черной желчью, его кожа приобрела синюшный оттенок, а из горла вырывались хрипы, напоминавшие скрежет ржавых дверных петель. Он то впадал в беспамятство, то приходил в себя и кричал, что видит демонов, пляшущих на его груди.

Весь Рим, от шумных рынков Кампо деи Фьори до мраморных залов Ватиканского дворца, с замиранием сердца следил за агонией князя Церкви. В тавернах и на площадях шептались, передавая друг другу пугающие подробности. Говорили, что кардинала отравили. Что он выпил вина за ужином у кардинала Асканио Сфорца — выпил всего один кубок, из того самого графина, из которого наливали всем гостям, — и через час уже бился в конвульсиях. Говорили, что вино было отравлено медленно действующим ядом, который подсыпали не в графин, а прямо в кубок, и что яд этот был изготовлен в секретных лабораториях замка Святого Ангела по личному рецепту папы Александра VI, сведущего в алхимии и токсикологии.

Правда же была одновременно и проще, и страшнее.

Кардинал Микеле, человек умный, но болтливый, имел несчастье знать слишком многое. Точнее — слишком многое о деньгах. О тех самых деньгах, что текли рекой в папскую казну и столь же стремительно утекали из нее, оседая в сундуках семейства Борджиа и их приспешников. Он знал о фиктивных векселях, выписанных на имя подставных лиц. О драгоценной утвари, переплавленной в слитки и вывезенной в Испанию. О симонических сделках, заключенных во время конклава и теперь тщательно скрывааемых. И, что самое непростительное, он имел глупость не только знать, но и намекать. Сначала — туманно, в узком кругу. Потом — все более открыто, в присутствии французского посла и агентов

Флоренции. А за неделю до своей безвременной кончины, будучи в изрядном подпитии на приеме у кардинала делла Ровере, он и вовсе заявил, что «этот каталонский бык купил тиару за серебро, а теперь продает ее за золото, и недалек тот день, когда Господь покарает святотатцев».

Эти слова были переданы Чезаре уже на следующее утро — служба осведомителей у старшего сына Борджиа работала безупречно. Чезаре, выслушав доносчика, не сказал ни слова. Он только кивнул, отпустил шпиона и отправился на аудиенцию к отцу. О чем они говорили в тот день, не знал никто, даже вездесущий церемониймейстер Бурхард. Но через три дня кардинал Микеле скоропостижно скончался.

Теперь, стоя у окна своих личных апартаментов и глядя на залитый утренним солнцем внутренний двор Бельведера, Александр VI размышлял о том, что смерть кардинала, в сущности, была актом милосердия. Христианнейшим деянием. Ибо что есть милосердие, как не избавление человека от страданий? А старый Микеле страдал. Страдал от подагры. Страдал от французской болезни, подхваченной в молодости. Страдал от зависти к более удачливым соперникам. Теперь же он не страдал ни от чего. Он покоился с миром — вернее, его душа, если таковая существовала, отправилась в Чистилище, откуда ее можно будет со временем вызволить за скромную мзду, уплаченную в датарию. А брэнная оболочка, набальзамированная лучшими мастерами Рима, лежала сейчас в открытом гробу посреди Сикстинской капел-

лы, ожидая заупокойной мессы.

Папа облачался к траурной церемонии с особым тщанием. Слуги подали ему сутану из черного шелка — знак папского траура, который надевался лишь в случае смерти монархов и ближайших родственников. Поверх сутаны легла белоснежная альба, символ чистоты и непорочности, а на нее — черная риза, расшитая серебряными нитями, с капюшоном, обрамленным мелким речным жемчугом. Митра, которую водрузили на голову понтифика, была из черного бархата, украшенная лишь одним-единственным сапфиром — камнем скорби и мудрости. Александр посмотрел на себя в большое венецианское зеркало и остался доволен. В этом облачении он выглядел не просто папой — он выглядел воплощением божественного правосудия, сошедшим на землю, чтобы вершить суд над живыми и мертвыми.

Дверь скрипнула. На пороге появился Чезаре, уже облаченный в кардинальский пурпур. Он был бледен, под глазами залегли тени — сказывались три ночи, проведенные в оргиях и совещаниях, — но взгляд его оставался твердым и ясным, как лезвие дамасского кинжала.

— Все готово, ваше Святейшество, — произнес он, склоняя голову в формальном поклоне. — Кардиналы собрались. Тело покойного на катафалке. Певчие ждут вашего знака.

Александр медленно повернулся к сыну. Его губы тронула легкая, почти незаметная улыбка.

— Готово? — переспросил он. — Что именно готово, Че-

заре? Месса? Или... то, о чем мы говорили вчера?

Чезаре выдержал паузу. Затем, убедившись, что слуги вышли из комнаты, шагнул ближе и понизил голос до шепота:

— Секретарь покойного, некий Франческо да Терни, сегодня утром пытался бежать из Рима. Мои люди перехватили его у ворот Сан-Паоло. Он вез с собой сундук с бумагами. Бумаги сейчас у меня. Секретарь — в подвалах замка Святого Ангела. Он подтвердил, что Микеле вел дневник и переписывался с кардиналом делла Ровере. Письма содержат... нелестные оценки вашего понтификата.

— Дневник? Письма? — папа нахмурился. — Где они?

— Сожжены. Все до единого. Я лично бросил их в камин час назад.

Александр кивнул. Затем, помедлив, возложил руку на плечо сына и слегка сжал его — жест, который мог означать и отцовскую нежность, и одобрение, и нечто большее, нечто такое, что не нуждалось в словах.

— Ты хорошо поработал, — произнес он тихо. — А теперь идем. Нам предстоит сыграть роль скорбящих пастырей. И сделать это так, чтобы даже ангелы на небесах прослезились.

Сикстинская капелла встретила их прохладой и полумраком. Несмотря на утренний час, внутри царил таинственный, словно подводный, свет — его источали сотни восковых свечей, расставленных вокруг катафалка, и он отражался от золотых фонов фресок, еще не завершенных молодым флорен-

тийцем Микеланджело, который как раз заканчивал роспись свода. В этом мерцающем сиянии лица святых, пророков и сивилл казались живыми — они смотрели на происходящее с неммым укором, словно предвидя ту череду преступлений, свидетелями которой им предстояло стать.

Гроб с телом кардинала Микеле стоял на высоком ка-тафалке, обитом черным бархатом с серебряной бахромой. Сам покойник, облаченный в полное кардинальское облачение — пурпурную сутану, стихарь, мантию и галеро, — лежал с закрытыми глазами и сложенными на груди руками. Его лицо, обезображенное предсмертными муками, было искусно загримировано: бальзамировщики покрыли кожу воском и румянами, придав ей подобие жизни. Но даже сквозь этот грим проступали следы агонии — заострившиеся скулы, провалившиеся глазницы, неестественно вывернутые уголки губ.

Кардиналы, епископы, прелаты и папские чиновники заполнили скамьи, расставленные вдоль стен капеллы. Их было не менее полусотни — весь цвет римской курии, все те, кто еще недавно пировал на приемах Борджиа, а теперь с каменными лицами внимал заупокойной службе. Среди них выделялся кардинал Джулиано делла Ровере, главный враг папы, специально прибывший из своей резиденции в Остии, чтобы почтить память покойного. Он сидел в первом ряду, прямой как палка, с лицом, напоминавшим застывшую маску скорби. Его глаза, холодные и внимательные, не отрыва-

лись от фигуры папы, словно он пытался прочесть на его лице следы преступления.

Александр VI, войдя в капеллу, не удостоил делла Ровере даже взглядом. Он медленно, размеренным шагом прошествовал к алтарю, преклонил колени перед дарохранительницей и погрузился в молитву. Со стороны могло показаться, что он и впрямь скорбит — так сосредоточенно было его лицо, так глубоки и истовы были его поклоны. Но те, кто знал папу близко, заметили бы, что губы его шевелятся не в такт словам литургии, а словно бы проговаривают что-то иное, не предназначенное для посторонних ушей.

Началась месса. Папский хор, состоявший из лучших певчих Италии, затянул «*Dies Irae*» — средневековый гимн о Страшном Суде, чьи мрачные, пронзительные звуки наполняли капеллу дрожью и трепетом. Александр, стоя у алтаря с поднятыми руками, сам произносил молитвы — его низкий, хорошо поставленный голос разносился под сводами, заглушая всхлипывания немногочисленных искренне скорбящих.

— *Dies irae, dies illa, solvet saeculum in favilla...* — пел хор.

— День гнева, день тот, обратит мир во прах, — мысленно переводил папа, и на его губах играла едва заметная усмешка. День гнева? О да, он настанет. Но не для него. Для таких, как Микеле. Для болтливых дураков, не умеющих держать язык за зубами. Для завистников и интриганов. Для врагов дома Борджиа. А он, Александр, наместник Христа, стоит выше гнева, выше суда, выше самой смерти. Ибо смерть —

это лишь инструмент в его руках, такой же, как индульгенции, как симония, как дипломатические союзы.

Когда настал момент причастия, папа поднял над алтарем гостию — тонкий облаток пресного хлеба, который, согласно догмату, в этот самый миг пресуществлялся в истинное Тело Христово. Сотни глаз были прикованы к его рукам. Кардиналы опустили на колени. Даже делла Ровере, скрежеща зубами, вынужден был преклонить колено. Александр разломил гостию надвое — и в этом жесте, в этом хрусте ломающегося хлеба, почудилось вдруг что-то кощунственное, что-то напоминающее хруст шейных позвонков.

— *Agnus Dei, qui tollis peccata mundi...* — произнес папа, поднимая чашу с вином. — Агнец Божий, берущий на себя грехи мира...

«Все грехи мира, — промелькнуло у него в голове. — Включая этот. Особенно этот. Ибо если я — Агнец, то любое мое деяние, даже убийство, есть акт искупления. Не я пролил кровь Микеле — это Бог, действуя через меня, призвал грешника к ответу. Я лишь орудие. Я непогрешим. Следовательно, я невиновен».

Он поднес чашу к губам и отпил глоток вина — густого, сладкого, отдающего мускатом. Вино согрело горло, пролилось в желудок, разлилось по жилам теплом. Церемония близилась к завершению. Пора было произнести надгробное слово.

Александр обернулся к собранию. Его лицо, освещенное

трепетным светом свечей, казалось одновременно скорбным и величественным. Он простер руки к гробу покойного и заговорил. Голос его, сначала тихий и проникновенный, постепенно набирал силу, заполняя собой все пространство капеллы.

— Возлюбленные братья и сыновья во Христе! Сегодня мы провожаем в последний путь нашего дорогого собрата, кардинала Микеле, князя Церкви, верного слугу Престола, человека, чья жизнь была посвящена служению Господу и Его Святой Матери-Церкви. Мы скорбим о его кончине, ибо смерть праведника — это потеря для всего христианского мира. Но мы также и радуемся, ибо знаем, что душа его ныне предстоит перед Престолом Всевышнего, где нет ни печали, ни вздыхания, но жизнь бесконечная.

Папа сделал паузу, обводя взглядом замерших слушателей. Его глаза на мгновение встретились с глазами делла Ровере. В этом обмене взглядами промелькнуло нечто, похожее на безмолвный поединок — столкновение двух волей, двух непримиримых врагов, запертых в одной клетке ритуала.

— Некоторые из вас, — продолжил Александр, и его голос чуть заметно дрогнул, — возможно, задаются вопросом: почему Господь призвал нашего брата так внезапно, во цвете лет, когда он мог бы еще долго служить Церкви? Почему смерть настигла его столь мучительно, столь неожиданно? Неисповедимы пути Господни, братья мои. Мы не можем знать замыслов Творца. Но мы можем верить, что все,

что Он делает, Он делает к лучшему. Возможно, наш брат исполнил свою земную миссию и был призван к небесной награде. Возможно, его смерть — это напоминание всем нам о бренности бытия, о тщете земных амбиций, о необходимости жить в страхе Божиим.

Он снова сделал паузу, и на этот раз его глаза наполнились слезами. Да, самыми настоящими слезами — солеными и горячими, — которые покатались по его полным щекам, оставляя влажные дорожки на безупречно выбритой коже. Кардиналы, видевшие это, были тронуты до глубины души. Некоторые из них и сами прослезились. Только делла Ровере оставался неподвижен, и его губы кривились в презрительной усмешке. Он знал цену этим слезам. Он сам не раз использовал их в политических целях.

Александр, тем временем, опустил на колени перед катафалком и припал губами к холодной, набальзамированной руке покойного. В этот момент к нему приблизился церемониймейстер Бурхард с кадилом в руках. Папа взял кадило, взмахнул им, окутывая гроб облаком ароматного ладана, и вдруг — едва заметно, одними уголками губ — наклонился к стоящему рядом Чезаре.

— Он слишком много знал о казне Святого Петра, — прошептал папа почти беззвучно, так что даже стоявшие в двух шагах прелаты не могли расслышать этих слов. — И был слишком глуп, чтобы молчать. Помни об этом, сын мой. Знание — это яд. Делиться им — смертельно.

Чезаре, не меняясь в лице, кивнул. Он стоял у гроба, прямой и неподвижный, словно статуя архангела Михаила с поднятым мечом. Он смотрел не на покойника, а на кардиналов, выстроившихся вдоль стен. Его холодный, оценивающий взгляд скользил по лицам, словно лезвие бритвы, и каждый, на ком он останавливался, чувствовал ледяной холодок между лопаток. Кто следующий? Кто из них окажется на этом катафалке через месяц, через год, через два? Кто проявит неосторожность, кто скажет лишнее слово, кто попытается встать на пути у дома Борджиа? Смерть кардинала Микеле была не просто убийством. Это было послание. Предупреждение. Урок, написанный на пергаменте из человеческой плоти и запечатанный печатью папской непогрешимости.

Когда церемония закончилась и последние звуки «*Libera me, Domine*» растаяли под сводами, папа в сопровождении свиты направился к выходу. У дверей капеллы его поджидал секретарь Франческо, тот самый красивый, женоподобный юноша с маслянистыми глазами. Он подал папе серебряный поднос, на котором лежал сложенный вчетверо пергамент.

— Что это? — спросил Александр, не замедляя шага.

— Прощение от вдовы покойного кардинала, ваше Святейшество, — прошелестел секретарь. — Она умоляет о пенсии. Говорит, что осталась без средств к существованию.

Папа остановился. Взял пергамент, развернул, пробежал глазами. Его губы тронула легкая усмешка.

— Пенсия? — переспросил он. — Вдова просит пенсию? Что ж, она ее получит. Выплатите ей... хм... сто дукатов единовременно. И передайте, пусть молится за упокой души своего мужа. Ей это понадобится больше, чем деньги.

Он сунул пергамент обратно секретарю и двинулся дальше. В этот миг из тени колонны выступила фигура в черном — это был все тот же Бурхард, педантичный немец, вездесущий и вечный, как сама папская бюрократия. В руках он держал свой неизменный дневник — толстую книгу в переплете из телячьей кожи, куда он записывал все события папского двора.

— Ваше Святейшество, — произнес он своим обычным бесцветным голосом, — позволите ли зафиксировать для истории слова, сказанные вами во время мессы?

Александр резко остановился. Обернулся. Его глаза впелись в лицо церемониймейстера с внезапной, хищной настороженностью. Что слышал этот немец? Что он записал? Неужели он расслышал тот шепот, обращенный к Чезаре? Но Бурхард оставался бесстрастен, как каменное изваяние. Его перо зависло над раскрытой страницей дневника, и он смотрел на папу с выражением почтительного, но непреклонного терпения.

— Записывай, — медленно произнес Александр. — Записывай все, что сочтешь нужным, брат Иоганн. Я не боюсь истории. Я сам — история.

Он развернулся и зашагал прочь, оставляя за спиной гул

голосов, скрип закрываемых дверей и запах ладана, смешанный с едва уловимым запахом тления, который, казалось, уже просачивался из-под крышки гроба.

А вечером того же дня, когда сумерки окутали Рим своей бархатной мантией, в личных покоях папы состоялся небольшой ужин — «скромная трапеза», как выразился сам Александр в разосланных приглашениях. Присутствовали только избранные: Чезаре, кардинал Фарнезе, датарий Феррари, несколько доверенных секретарей и, разумеется, Джулия Фарнезе, сияющая в платье из золотой парчи. Ужин был сервирован на террасе, выходящей в сады Бельведера, и легкий вечерний бриз, напоенный ароматом цветущих апельсиновых деревьев, смягчал духоту римского вечера.

Александр пребывал в отличном настроении. Он шутил, смеялся, поднимал кубки за здоровье гостей. Говорили о пустяках — о новой коллекции античных статуй, которую папа намеревался приобрести для Ватиканских садов, о предстоящей охоте в окрестностях Витербо, о слухах про французского короля, который якобы собирался в итальянский поход. Никто не упоминал о покойном кардинале Микеле. Никто не говорил о заупокойной мессе. Смерть, еще утром витавшая под сводами Сикстинской капеллы, была изгнана из этого круга избранных, как непрошенный гость.

Только Чезаре, сидевший в конце стола с кубком неразбавленного вина, оставался задумчив и молчалив. Когда ужин подошел к концу и гости начали расходиться, он подо-

шел к отцу и тихо произнес:

— Секретарь, Франческо да Терни... Что с ним делать?

Александр, занятый тем, что кормил засахаренными фруктами ручного леопарда Джулии, не сразу ответил. Он почесал зверя за ухом, наблюдая, как тот щурит желтые, янтарные глаза, и наконец произнес, не оборачиваясь к сыну:

— Секретарь? Ах да, тот самый, что пытался бежать. Ну что ж, он знал о дневниках, знал о письмах. Он много знал. Слишком много.

— Он подтвердил, что копий не осталось, — сказал Чезаре. — Но он сам — ходячая копия.

— Вот именно, — папа наконец обернулся. — Ты сам ответил на свой вопрос, сын мой. Секретарь, который слишком много знает, — это опаснее, чем дневник. Дневник можно сжечь. Человеческую память — увы — сжечь нельзя. Разве что... вместе с ее носителем.

Чезаре кивнул. Его лицо не выражало никаких эмоций — ни сожаления, ни колебания, ни тем более раскаяния. Только холодная, деловая решимость.

— Я распоряджусь, чтобы все было сделано тихо, — произнес он. — Несчастный случай. Бытовое ограбление. Убийство бродягами. Рим полон разбойников.

— Сделай это сегодня, — сказал Александр, отвернувшись обратно к леопарду. — И проследи, чтобы Бурхард не узнал. Этот немец сует свой нос во все дыры. Он уже спрашивал меня о словах, сказанных во время мессы. Если он

докопается до правды... — папа не закончил фразу. Вместо этого он протянул леопарду очередную засахаренную сливу и улыбнулся, наблюдая, как зверь хватается лакомство острыми зубами. — Впрочем, даже если докопается — что с того? Я — папа. Я непогрешим. А непогрешимый человек не может быть виновен в убийстве. По определению.

Чезаре поклонился и вышел. Его шаги гулко отдавались в пустом коридоре, затихая вдали. А папа еще долго сидел на террасе, глядя на звездное небо, раскинувшееся над Римом, и перебирал в уме события минувшего дня. Он думал о том, что смерть — это всего лишь инструмент, а жизнь — всего лишь игра. И он, Александр VI, наместник Бога на земле, был в этой игре главным игроком. Он устанавливал правила. Он двигал фигуры. Он назначал цену. И горе тому, кто попытается оспорить его ходы — будь то болтливый кардинал, или любопытный немец, или сам французский король.

Где-то вдали, за стенами Ватикана, прозвучал колокол — это монахи-бенедиктинцы монастыря Сан-Паоло призывали к ночной молитве. Александр прислушался к этому звуку, такому далекому и такому чуждому. Молитва. Благочестие. Святость. Когда-то, в юности, он, возможно, верил в эти слова. Теперь же они были для него лишь инструментами — такими же, как яд, как золото, как кинжал. Инструментами власти. И он владел ими в совершенстве.

Римское утро одиннадцатого ноября 1492 года, дня святого Мартина Турского, покровителя воинов и виноделов, выдалось промозглым и серым. Свинцовые тучи, приползшие с Тирренского моря, низко нависали над городом, цепляясь за шпили колоколен и зубцы крепостных стен. Сырой, пронизывающий ветер гнал по узким улочкам опавшие листья и обрывки соломы, забирался под плащи прохожих, заставляя их кутаться и прибавлять шаг. Вода в фонтанах на площадях казалась мутной и холодной, как слезы. Даже вездесущие римские кошки, обычно лениво греющиеся на мраморных ступенях, попрятались в подвалы и на чердаки, чуя приближение настоящих холодов.

Но в Апостольском дворце, за толстыми стенами, обитыми драгоценными тканями, непогода не ощущалась. Здесь, в лабиринте залов, коридоров и потайных лестниц, царила своя, искусственная атмосфера — вечного лета, поддерживаемого жаром каминов, ароматом благовоний и бурлением человеческих страстей. И сегодня эта атмосфера была насыщена электричеством — тем особым, почти осязаемым напряжением, которое предшествует важным политическим событиям.

В то утро папа Александр VI ожидал гостя. Гостя особого, чей визит был обставлен всей возможной пышностью, но при этом окутан завесой секретности. Этим гостем был дон Диего Лопес де Аро, чрезвычайный посол Их Католических Ве-

личество Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской — монархов, объединивших Испанию, изгнавших мавров из Гранады и отправивших Колумба на поиски западного пути в Индию. Посол прибыл в Рим инкогнито, под видом купца, торгующего шерстью, и остановился не в посольском дворце, а в скромном домике близ церкви Сан-Джакомо-дельи-Спаньоли, где обычно селились паломники из Испании. Его миссия была слишком деликатна, чтобы афишировать её перед кардиналами и иностранными дипломатами, которые, как стервятники, кружили над каждым шагом нового папы, вынюхивая секреты и слабые места.

Впрочем, содержание миссии было Александру хорошо известно. Ещё за неделю до прибытия посла тайный гонец доставил в Ватикан зашифрованное письмо от самого короля Фердинанда. Письмо было написано тем вкрадчивым, многословным стилем, который так любили испанские дипломаты — стилем, в котором за цветистыми комплиментами и благочестивыми формулами скрывался холодный, прагматичный расчёт. Король поздравлял своего «возлюбленного кузена и земляка» с восшествием на Престол Святого Петра, рассыпался в уверениях в вечной дружбе и преданности, а затем, словно бы невзначай, переходил к делу. Испании нужна была папская инвеститура — официальное утверждение прав Фердинанда и Изабеллы на земли, открытые Колумбом. Нужна была булла, закрепляющая за ними титул «Католических королей», дарованный предшествен-

ником Александра. Нужна была, наконец, поддержка в давнем споре с Португалией о разделе сфер влияния в Новом Свете. И за всё это Фердинанд готов был платить. Щедро. По-королевски.

Александр, читая то письмо, усмехался. Он знал цену испанской щедрости. Знал, что Фердинанд, этот хитрый арагонский лис, будет торговаться до последнего мараведи, прикрывая скупость фразами о благочестии и нуждах веры. Но сейчас, когда папская казна только начинала наполняться, а враги внутри курии ещё не были окончательно сломлены, союз с Испанией был нужен и самому Александру. Нужен как противовес Франции, которая угрожала вторжением в Италию. Нужен как гарантия безопасности его испанских владений — герцогства Гандийского, которое он только что пожаловал своему сыну Джованни. Нужен, наконец, как источник звонкой монеты, без которой любая политика превращалась в пустой звук.

И всё же, помимо всех этих прагматических соображений, была у Александра ещё одна причина желать встречи с испанским послом. Причина глубокая, почти интимная, связанная с самой сутью его понимания папской власти. Он хотел — нет, он жаждал — продемонстрировать этому испанцу, этому посланнику королей, что такое истинная, абсолютная, неподсудная власть. Власть, которая не нуждается в оправданиях, не признаёт ограничений и не боится суда — ни земного, ни небесного. Он хотел, чтобы дон Диего Лопес

де Аро, вернувшись ко двору Фердинанда и Изабеллы, рассказал им о том, что он видел в Риме. И чтобы рассказ этот заставил их содрогнуться. И чтобы они поняли: с этим папой нельзя говорить свысока. Этому папе нужно платить. И платить щедро.

Приём был назначен на десять часов утра в Зале Консistorии — том самом, где обычно проходили официальные заседания коллегии кардиналов. Но сегодня зала была переоборудована для церемонии совсем иного рода. Александр лично руководил приготовлениями, и его глаз, намётанный на театральные эффекты, не упустил ни одной детали. По его приказу трон был поднят на дополнительную ступень, так что папа должен был смотреть на посла сверху вниз с высоты не менее пяти футов. Вдоль стен выстроились швейцарские гвардейцы в парадных доспехах, с алебардами, сияющими как зеркала. Кардиналы и прелаты, приглашённые присутствовать при аудиенции, были расставлены в строгом порядке — не как участники, а как статисты, призванные создать фон, подчёркивающий величие главного действующего лица.

Но главный сюрприз Александр приготовил для финала аудиенции. О нём не знал никто — ни кардиналы, ни церемониймейстер Бурхард, ни даже Чезаре, который сегодня, против обыкновения, не присутствовал на приёме, будучи занят какими-то делами в замке Святого Ангела. Этот сюрприз должен был стать кульминацией спектакля, наглядной

демонстрацией тезиса о папской непогрешимости — тезиса, который Александр намеревался вбить в головы всем присутствующим, как гвоздь в крышку гроба.

Ровно в десять часов, когда колокола собора Святого Петра начали отбивать время, дверь в Зал Консистории распахнулась. В залу, сопровождаемый двумя папскими камергерями, вошёл дон Диего Лопес де Аро — высокий, сухопарый идальго лет пятидесяти, с длинным, узким лицом, обрамлённым седеющей бородкой, и тёмными, глубоко посаженными глазами, в которых читался многолетний опыт дипломатической службы. Он был облачён в строгий чёрный бархатный костюм по кастильской моде — без золотого шитья и драгоценностей, если не считать скромного золотого креста на груди. Единственной уступкой пышности была тяжелая золотая цепь — знак посольского достоинства, — которую он носил поверх камзола. Его походка была размеренной и твёрдой, как у человека, привыкшего ходить по скользким паркетам королевских дворцов, но в глазах, когда он окинул взглядом залу, на мгновение промелькнуло нечто, похожее на тревогу. Он много слышал об этом папе. И то, что он слышал, не внушало спокойствия.

Процессия двинулась к трону. Впереди шли два папских жезлоносца с серебряными булавами, за ними — секретарь Франческо, нёсший на вытянутых руках бархатную подушечку с какими-то документами, затем — сам посол, а замыкали шествие камергеры и пажи. Когда процессия достигла

подножия трона, посол, следуя протоколу, опустился на колени и склонил голову, ожидая папского благословения.

Александр VI, восседавший на троне в полном папском облачении — в тиаре, в мантии, расшитой золотыми ключами, с перстнем Рыбака на безымянном пальце, — выдержал долгую паузу. Он смотрел на коленопреклонённого испанца сверху вниз, как энтомолог смотрит на редкое насекомое, приколотое булавкой к бархату. В зале стояла такая тишина, что было слышно, как потрескивают свечи в канделябрах и как где-то далеко, за окнами, завывает ветер.

Наконец папа поднял руку в благословляющем жесте.

— Встань, сын мой, — произнёс он по-испански, с лёгким каталонским акцентом, который сразу же выдал в нём уроженца Валенсии. — Подойди ближе. Их Католические Величества оказали нам честь, прислав столь достойного представителя. Мы рады видеть тебя при нашем дворе.

Посол поднялся с колен, сделал несколько шагов вперёд и вновь поклонился — на сей раз менее глубоко, как того требовал этикет.

— Ваше Святейшество, — заговорил он, и его голос, низкий и хорошо поставленный, заполнил залу, — мой государь, король Фердинанд, и моя государыня, королева Изабелла, шлют вам свои поздравления и заверения в сыновней преданности. Они молят Господа о долгих днях вашего понтификата и о процветании Святой Матери-Церкви под вашим мудрым водительством. В знак своего почтения они просят

ваше Святейшество принять скромные дары.

Он сделал знак рукой, и пажи, стоявшие у дверей, начали вносить в залу подарки. Сначала — массивный золотой крест, усыпанный изумрудами и рубинами, работы лучших ювелиров Толедо. Затем — ларец, наполненный только что отчеканенными испанскими дублонами, каждая монета — весом в целую унцию чистого золота. Затем — свиток пергамента, содержащий подробную опись земельных владений в королевстве Валенсия, которые Фердинанд готов был передать в личную собственность папской семьи. И наконец, — что было самым неожиданным, — большую клетку, в которой сидел живой орёл, пойманный в Пиренеях и обученный охотиться на зайцев. Орёл смотрел на собравшихся хищным, немигающим взглядом, и его клюв, острый как бритва, поблёскивал в свете свечей.

Кардиналы и прелаты, присутствовавшие в зале, восхищённо зашептались. Дары были поистине королевскими. Но Александр, взглянув на них, лишь едва заметно кивнул. Он видел дары и побогаче. Его интересовало другое — то, что стояло за дарами. Та просьба, которую посол ещё не озвучил, но которую папа уже знал наперёд.

— Передай Их Величествам нашу глубочайшую благодарность, — произнёс он, когда пажи унесли дары в смежную залу. — Их щедрость поистине достойна монархов, носящих титул Католических. Кстати, об этом титуле... — он сделал паузу, давая послу возможность перейти к делу.

Дон Диего не заставил себя ждать.

— Ваше Святейшество, — начал он, и его голос приобрёл те вкрадчивые, обволакивающие интонации, которые так хорошо знакомы всем, кто имел дело с дипломатами, — мой государь осмеливается просить вашего апостольского утверждения титула «Католических королей», пожалованного вашим блаженной памяти предшественником, папой Иннокентием VIII, за заслуги в деле изгнания неверных с Иберийского полуострова. Он также смиренно просит вашего благословения на освоение новооткрытых земель за Западным океаном и на обращение их жителей в истинную веру. И, наконец, он испрашивает вашего мудрого посредничества в споре с королём Португалии Жуаном о разграничении сфер влияния в сих землях.

Александр выслушал эту речь с выражением глубокой задумчивости на лице. Он знал, что сейчас наступает решающий момент. Момент, когда можно запросить цену. И цену высокую.

— Мы рассмотрим просьбы Их Величеств со всем вниманием, какого они заслуживают, — произнёс он наконец. — Церковь всегда поддерживала тех монархов, которые служат делу распространения веры Христовой. Однако, — он снова сделал паузу, и его голос стал чуть более жёстким, — ты, должно быть, знаешь, сын мой, что Престол Святого Петра ныне находится в стеснённых обстоятельствах. Войны в Романье, угроза французского вторжения, необходимость

укреплять оборону Рима — всё это требует средств. Средств немалых. И если Их Католические Величества желают получить наше благословение, они, без сомнения, захотят помочь Церкви в её земных нуждах. Так же, как Церковь помогает им в нуждах духовных.

Посол едва заметно поморщился. Он ожидал этого — прямого, почти циничного требования денег. Но он также знал, что у него есть инструкции на этот счёт.

— Его Величество король Фердинанд уполномочил меня предложить вашей казне ежегодную субсидию в размере двадцати тысяч дукатов, — произнёс он, — в обмен на утверждение титула и исключительных прав на новооткрытые земли. Кроме того, король готов передать церкви в вечное владение несколько аббатств в Андалусии, доходы с которых...

— Двадцать тысяч? — перебил его Александр, и в его голосе прозвучала насмешка. — Двадцать тысяч дукатов? Король Фердинанд, должно быть, шутит. Одна только свадьба моей дочери Лукреции обойдётся мне втрое дороже. А ведь я ещё не начал строить новый собор Святого Петра, который, как мне видится, должен стать величайшим храмом христианского мира!

Посол побледнел. Он понял, что папа набивает цену. И понял, что торг будет долгим и унижительным. Но он также знал, что у него нет выбора. Фердинанду нужна была папская булла. Без неё все его завоевания и открытия могли быть

оспорены Португалией, Францией, Англией — кем угодно.

— Ваше Святейшество, — начал он, — я уполномочен обсуждать условия...

— Обсуждать? — Александр снова перебил его, на этот раз с откровенной резкостью. — Ты будешь не обсуждать, сын мой. Ты будешь слушать. И записывать. И передашь своему государю слово в слово. А слово моё таково: папская булла стоит денег. Титул Католических королей стоит денег. Благословение на завоевание новых земель стоит денег. И если Фердинанд Арагонский хочет получить всё это, он должен заплатить. Не жалкие двадцать тысяч ежегодно, а сто тысяч дукатов — единовременно, в золоте, в течение трёх месяцев. И сверх того — право назначать епископов во всех новооткрытых землях должно принадлежать не королю, а Папе. И десятая часть всех доходов с этих земель — тоже Папе. И ещё...

Он осёкся, заметив, что посол побледнел ещё сильнее. Дон Диего явно не ожидал такого натиска. Он открыл рот, чтобы возразить, но Александр властным жестом остановил его.

— Впрочем, — произнёс папа, и его голос внезапно смягчился, — мы не хотим, чтобы ты уехал из Рима с пустыми руками. Я дам тебе кое-что. Не буллу — булла требует времени и обсуждения с кардиналами. Но нечто не менее ценное. Нечто, что ты сможешь показать своему королю в доказательство моей доброй воли и моей... власти.

Он сделал знак рукой. Секретарь Франческо, стоявший у подножия трона, шагнул вперёд и положил на бархатную подушечку, которую держал в руках, толстый свиток пергамента. Это был текст папской буллы, изданной несколько лет назад при папе Сиксте IV — буллы, касавшейся вопросов церковной дисциплины и ограничений, налагаемых на папскую власть соборными постановлениями. Александр взял свиток в руки, развернул его, пробежал глазами — и вдруг, на глазах у изумлённых кардиналов, посла и всей свиты, разорвал его пополам. Затем сложил половинки вместе и разорвал снова. И ещё раз. И ещё — пока пергамент не превратился в грудку обрывков, которую папа с презрением швырнул на мраморный пол.

В зале повисла мёртвая тишина. Кардиналы замерли, не веря своим глазам. Посол побледнел как полотно. Даже Бурхард, стоявший в тени колонны со своим неизменным дневником, на мгновение перестал писать. То, что только что произошло, было неслыханно. Папа только что демонстративно уничтожил документ, утверждённый его предшественником и подписанный кардиналами. Он растоптал церковный закон. Он показал, что для него не существует никаких ограничений — ни канонических, ни моральных, ни традиционных.

— Ты видишь это? — Александр указал на обрывки пергамента, валявшиеся у его ног. — Ты видишь, дон Диего? Это — закон. Церковный закон. Каноны, утверждённые со-

борами, подписанные папами, скреплённые печатями. Десятилетия трудов, молитв и богословских диспутов. И что же? Я только что уничтожил их. Одним движением руки. И знаешь почему?

Посол молчал, не в силах вымолвить ни слова. Александр поднялся с трона. Он стоял на возвышении, высокий, грузный, в сияющей тиаре, и его чёрные глаза горели огнём, который заставлял всех присутствующих отводить взгляды.

— Потому что я — не раб закона, — произнёс он, и его голос разнёсся под сводами залы, как раскат грома. — Я — его источник. Я — живой закон. Всё, что связано и разрешено на земле, связано и разрешено мной. Всё, что я говорю, — это истина, ибо не я говорю, но Бог через меня. Я непогрешим. Следовательно, я не могу нарушить закон — даже если я топчу его ногами, даже если я рву его в клочья. Потому что закон — это то, что я говорю, а не то, что написано на пергаменте.

Он сделал паузу, обвёл взглядом замерших кардиналов, остановился на побледневшем лице посла.

— Передай своему королю, дон Диего, — продолжил он уже тише, но с той особой, зловещей интонацией, которая пугала больше, чем любой крик, — что я не просто папа. Я — папа, который не признаёт границ. Ни для себя, ни для своих детей. Я могу даровать титул, а могу отнять. Могу благословить, а могу проклясть. Могу связать на небесах и на земле — и могу развязать. И если Фердинанд хочет, чтобы

я был на его стороне, он должен понять: со мной нельзя торговаться, как с менялой. Мне нужно платить. И платить так, как платят не сюзерену, не покровителю — а владыке мира.

Он опустился обратно на трон. В зале по-прежнему царил тишина. Слышно было только, как ветер за окнами бросает в стёкла пригоршни дождевых капель. Посол, всё ещё бледный, но уже взявший себя в руки, отвесил глубокий поклон.

— Я передам моему государю слова вашего святейшества, — произнёс он глухо. — Слово в слово.

— Не сомневаюсь, — усмехнулся Александр. — А теперь ступай. Аудиенция окончена. Мой секретарь передаст тебе проект буллы, когда он будет готов. И помни, дон Диего: когда ты будешь докладывать Их Величествам о нашей встрече, не забудь упомянуть вот об этом. — Он указал на обрывки пергамента, всё ещё валявшиеся на полу. — Пусть они знают, с кем имеют дело.

Посол, пятясь и кланяясь, покинул залу. За ним последовали пажи, камергеры и жезлоносцы. Когда двери закрылись, Александр обернулся к кардиналам. Те стояли ни живы ни мертвы, не зная, как реагировать на только что увиденное. Первым нарушил молчание кардинал Асканио Сфорца. Он вышел из ряда, опустился на колени перед тронном и громко, отчётливо произнёс:

— Ваше Святейшество, мы только что стали свидетелями величайшего проявления апостольской власти. Вы дока-

зали, что являетесь истинным заместителем Христа, не связанным путами человеческих установлений. Мы преклоняемся перед вашей мудростью и силой.

За ним, один за другим, начали опускаться на колени остальные кардиналы. Кто-то делал это искренне, кто-то — из страха, кто-то — из расчёта. Но все они, склоняя головы в глубоком поклоне, целовали воздух перед папской туфлей, выказывая полную, безоговорочную покорность. Александр наблюдал за этим зрелищем с выражением холодного удовлетворения. Он знал, что большинство из этих людей в душе ненавидят и презирают его. Но это не имело значения. Важно было лишь то, что они боялись. И что они подчинялись. Потому что страх и золото — вот единственные надёжные скрепы власти. А благословение Божие... Благословение Божие можно купить, как индульгенцию. Или просто декларировать — как непогрешимость.

Когда кардиналы, получив отпущение, начали расходиться, к трону приблизился Бурхард. Его лицо было, как всегда, бесстрастно, но в глазах читался немой вопрос.

— Ты хочешь что-то записать? — спросил Александр, не глядя на него.

— Да, ваше Святейшество. Я хотел бы уточнить... слова, сказанные вами о непогрешимости. Они имеют силу догмата?

Александр задумался. Вопрос был провокационным. Догмат о папской непогрешимости ещё не был официально про-

возглашён — это произойдёт лишь три с половиной столетия спустя, на Первом Ватиканском соборе. Но Александр, будучи искусным теологом и ещё более искусным политиком, знал, что идея эта давно витает в воздухе, обсуждается в университетах, служит предметом споров между курией и соборным движением.

— Записывай так, — произнёс он наконец. — «Папа, в силу своей апостольской власти, стоит выше канонов. Он не связан никакими постановлениями, даже теми, что изданы его предшественниками. Его слово есть слово истины, ибо он — наместник Того, Кто есть Истина. Посему любое его деяние, даже если оно кажется противоречащим закону, не может быть греховным, ибо закон — это он сам». Записал?

Бурхард кивнул, выводя последние слова.

— И добавь, — Александр чуть понизил голос, — «сие было явлено в Зале Консistorии в присутствии коллегии кардиналов и посла Их Католических Величеств, каковые, будучи свидетелями сего акта, единогласно признали оный соответствующим апостольской традиции и святости». Пусть история знает, что я не прятался. Я действовал открыто. И кардиналы меня поддержали. Все до единого.

Бурхард дописал и закрыл дневник. Поклонившись, он удалился. Александр остался в опустевшей зале один. Он сидел на троне, глядя на обрывки пергамента, всё ещё валявшиеся на полу, и думал. Думал о том, как странно устроен мир. Бумага, на которой написаны законы, стоит грош. Её

можно разорвать, сжечь, выбросить. Но слова, произнесённые вслух, слова, подкреплённые властью и страхом, обладают магической силой. Они меняют реальность. Они превращают преступление в подвиг, ложь — в истину, бастарда — в принца. И тот, кто владеет этой магией, — тот и есть истинный властелин мира.

Он подозвал слугу, стоявшего у дверей, и приказал собрать обрывки пергамента и сжечь их в камине. Слуга, дрожа от страха, выполнил приказ. Через несколько минут в камине весело трещал огонь, пожирая останки церковных канонов. Александр смотрел на пламя и улыбался. Он только что одержал ещё одну победу. Не над Испанией — с Испанией ещё предстояло торговаться. Но над самим понятием закона. Над самой идеей того, что власть может быть чем-то ограничена. Он доказал — пока что самому себе и ближайшему окружению, — что папа действительно непогрешим. Не потому, что так решили теологи. А потому, что он так сказал. И никто не посмел возразить.

Вечером того же дня, когда дождь за окнами превратился в настоящий ливень, а ветер завывал в каминных трубах, как стая голодных волков, Александр ужинал в узком семейном кругу. На этот раз за столом были только свои — Чезаре, Лукреция, Джулия Фарнезе и несколько доверенных слуг. Джованни отсутствовал — он готовился к отъезду в Испанию, где ему предстояло вступить во владение герцогством Гандийским и жениться на кузине короля Фердинанда.

Разговор за ужином не клеился. Чезаре был мрачен и задумчив, что-то обдумывая. Лукреция, бледная и тихая, почти не притрагивалась к еде. Джулия, напротив, была весела и щебетала о новых платьях, заказанных у флорентийских портных, но её веселье казалось наигранным, как у актрисы на сцене. Александр, прихлёбывая разбавленное вино, размышлял о событиях прошедшего дня. Он был доволен. И всё же какое-то смутное, неоформленное беспокойство тревожило его. Что-то, связанное с тем, что произошло в Зале Консистории. Что-то, что он упустил из виду.

Внезапно он понял. Обрывки буллы. Дневник Бурхарда. Свидетели — кардиналы, посол, слуги. Он создал прецедент. Он публично заявил о своей неподсудности. Это был сильный ход — но и опасный. Потому что теперь каждый его шаг, каждый его поступок будет рассматриваться через призму этого заявления. Если он непогрешим, если он — живой закон, то любое его действие автоматически становится законным. Но это означало также, что любое его действие становится предметом пристального внимания. Враги, а их у него было немало, теперь будут ждать. Ждать ошибки. Ждать слабости. Ждать момента, когда можно будет сказать: «Смотрите! Вот ваш непогрешимый папа! Он ошибся! Он нарушил собственный закон! Он — лжец и лицемер!»

Александр усмехнулся собственным мыслям. Нет, он не допустит такой ошибки. Он слишком умён, слишком опытен, слишком осторожен. Он будет действовать так, чтобы

каждое его действие, даже самое гнусное, можно было истолковать как проявление высшей мудрости. Убийство? Не убийство, а казнь еретика. Разврат? Не разврат, а пастырское снисхождение к человеческим слабостям. Симония? Не симония, а добровольные пожертвования на нужды Церкви. Всё можно повернуть нужной стороной, если у тебя хватает власти и красноречия. А у него хватало и того, и другого.

Он поднял кубок и, прежде чем отпить, произнёс тост, адресованный скорее себе самому, чем сотрапезникам:

— За колодец безнаказанности. Да не иссякнет в нём вода.

Никто не понял, что он имел в виду. Но все выпили. И лишь ветер за окном, казалось, ответил папе зловещим воём, от которого у Лукреции по спине пробежал холодок, а Джулия нервно поёжилась и плотнее запахнула шаль.

А где-то далеко, в монастыре Сан-Марко во Флоренции, доминиканский монах Джироламо Савонарола, стоя на коленях перед распятием, молился о том, чтобы Господь покарал нового папу — «аптекаря Сатаны», «чудовище разврата», «антихриста в тиаре». Его молитвы были горячи и искренни. И им суждено было быть услышанными — но совсем не так, как он ожидал.

Глава 5. «Плеть для пророка»

В то самое утро, когда папа Александр VI разрывал церковные буллы в Зале Консистории, демонстрируя испанско-

му послу свою абсолютную, неподсудную власть, в шестистах милях к северу от Рима, во Флоренции, другой человек стоял на кафедре собора Санта-Мария-дель-Фьоре и говорил слова, которые эхом разносились под готическими сводами, заставляя тысячи людей замирать от ужаса и восторга. Этого человека звали Джироламо Савонарола, и он был пророком. По крайней мере, так считали его последователи — а их были тысячи, десятки тысяч, мужчин и женщин, богатых и бедных, знатных и простолюдинов, — все те, кто, затаив дыхание, внимали его проповедям, словно гласу архангела, возвещающего конец времён.

Флоренция, блистательная столица Тосканы, колыбель Возрождения, город Медичи и Боттичелли, Альберти и Полициано, в тот год переживала странные, тревожные времена. Лоренцо Великолепный, некоронованный король республики, покинул этот мир в апреле, и его смерть, совпавшая с падением огромного метеорита и странными знаменами на небесах, была воспринята многими как предвестие грядущих бедствий. Его сын и наследник, Пьеро, прозванный Невезучим, не обладал ни умом, ни обаянием отца. Он был надменен, капризен и глуп — три смертных греха для правителя. И пока он безуспешно пытался удержать власть, народ Флоренции всё чаще обращал свои взоры не к дворцу Медичи, а к монастырю Сан-Марко, где в тесной келье, пропахшей воском и ладаном, жил человек, называвший себя гласом Божиим.

Джироламо Савонарола был родом из Феррары, из семьи почтенного, но небогатого юриста. В юности он, отвергнув мирские соблазны, бежал из дома и постригся в монахи-доминиканцы — в тот самый орден, который некогда дал миру инквизицию. Он был невысок, худ, с резкими, аскетическими чертами лица, обрамлённого капюшоном грубой монашеской рясы. Его глаза — тёмные, глубоко посаженные, горящие лихорадочным огнём, — казалось, могли пронзать души насквозь. Голос его, низкий и хрипловатый в обычной речи, на кафедре превращался в громовой инструмент, способный потрясать стены и заставлять сердца биться чаще. Он говорил — и люди плакали. Он обличал — и люди каялись. Он пророчествовал — и люди верили.

В то утро, одиннадцатого ноября, в день святого Мартина, Савонарола поднялся на кафедру, чтобы произнести одну из своих знаменитых проповедей — тех, что позже назовут «огненными речами». Собор был набит до отказа. Тысячи флорентийцев — ремесленники в шерстяных плащах, купцы в бархатных колетах, дамы в атласных платьях, прикрытых скромными вуалями, — стояли плечом к плечу, затаив дыхание. Свечи, горевшие у алтаря, отбрасывали на лица прихожан трепещущие тени, и от этого казалось, что вся толпа колыхается, словно море перед бурей.

Савонарола простёр руки к небу и заговорил. Сначала тихо, почти шёпотом, но с каждым словом его голос набирал силу, становясь всё громче, всё яростнее, всё неотвратимее.

— Покайтесь, жители Флоренции! — воззвал он. — Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное! Но горе вам, если вы не покаетесь! Горе вам, ибо Господь уже занёс меч над вашими головами! Горе вам, ибо грядёт бич Божий, который поразит нечестивых и сметёт с лица земли всех, кто осквернил Церковь Христову пороками и развратом!

Толпа замерла. Многие побледнели. Некоторые женщины начали всхлипывать. Савонарола продолжал, и теперь его голос гремел под сводами, как раскаты грома:

— Вы думаете, я говорю о язычниках? О неверных? О турках? Нет! Я говорю о тех, кто называет себя пастырями, а на деле — волки хищные! Я говорю о Риме! О Ватикане! О том вертепе разбойников, где наместник Христа должен был бы сидеть в смирении и молитве, а вместо этого сидит... — он на мгновение запнулся, словно набирая воздух для последнего, самого страшного удара, — сидит антихрист в тиаре!

В толпе раздались испуганные возгласы. Кто-то крикнул: «Богохульство!», кто-то попытался протиснуться к выходу. Но большинство осталось, заморожённое, парализованное этим голосом, этими словами, этим пророческим гневом.

— Да, я сказал это! — продолжал Савонарола, и его глаза сверкали, как угли. — Я, смиренный монах Джироламо, говорю вам: папа Александр Шестой — не папа! Он — антихрист, пришедший во плоти! Он купил тиару за золото, он оскверняет алтари развратом, он проливает кровь невинных

и торгует отпущением грехов, словно рыночный меняла! Дети его — бастарды, советники его — убийцы, двор его — вертеп! И вы, флорентийцы, должны знать: Господь покарает его! Господь уже занёс над ним Свою длань! И горе тому, кто останется с ним в тот день! Горе тому, кто не отречётся от этого аптекаря Сатаны!

Он замолчал, обводя взглядом замершую толпу. В наступившей тишине было слышно, как где-то далеко, за стенами собора, звонит колокол — монотонно, печально, словно отпевая саму душу христианского мира. Затем Савонарола опустил руки, и его голос упал до шёпота:

— Идите с миром, дети мои. И молитесь. Молитесь, чтобы Господь отвратил от Италии Свой праведный гнев. Молитесь, чтобы я ошибся. Ибо если я прав, то дни ваши сочтены, и скоро, очень скоро на улицах вашего города будете вы слышать не колокольный звон, а стоны умирающих.

С этими словами он сошёл с кафедры и скрылся в боковой двери, ведущей в ризницу. А толпа осталась стоять в оцепенении, переваривая услышанное. Многие плакали. Многие крестились. Многие шептали молитвы. И почти никто не заметил, как в задних рядах собора два человека в дорожных плащах, обменявшись быстрыми взглядами, поспешно покинули храм и направились к городским воротам. Это были осведомители кардинала делла Ровере, и в их дорожных сумках лежали письма, которые уже через несколько дней достигнут Рима.

Весть о флорентийской проповеди достигла Ватикана через пять дней. Пять дней — это был рекордный срок для эпохи, когда гонцы передвигались на лошадях и кораблях, рискуя жизнью на разбойничьих трактах. Но у кардинала Джулиано делла Ровере, непримиримого врага Борджиа, была собственная, великолепно отлаженная система доставки донесений, и он не пожалел денег, чтобы как можно скорее доставить папе текст проповеди — дословный, записанный одним из его агентов, присутствовавших в соборе.

Александр VI получил это донесение во время утренней трапезы в своих личных покоях. Он сидел за столом, накрытым белоснежной скатертью, и разрезал спелую гранату, наслаждаясь видом рубиновых зёрен, высыпающихся на серебряное блюдо. Рядом сидела Джулия Фарнезе, кормившая с рук своего ручного леопарда кусочками сырого мяса. В камине весело трещал огонь, разгоняя промозглую ноябрьскую сырость. Идиллию нарушил стук в дверь.

— Войдите, — произнёс папа, не поднимая головы от граната.

Вошедший секретарь Франческо, тот самый женоподобный юноша с маслянистыми глазами, был бледен. В руках он держал сложенный вчетверо пергамент, и руки его заметно дрожали. — Ваше Святейшество, — произнёс он, запинаясь, — срочная депеша из Флоренции. От кардинала делла Ровере.

Александр отложил нож. Он не любил, когда его беспо-

коили за едой, но имя делла Ровере заставило его насторожиться. Что задумал этот старый лис? Очередную интригу? Очередной донос?

— Дай сюда.

Он взял пергамент, развернул его и начал читать. По мере чтения его лицо, обычно сохранявшее выражение добродушной снисходительности, начало меняться. Сначала брови поползли вверх в удивлении. Затем губы сжались в тонкую линию. Затем на щеках проступил румянец — не от смущения, а от гнева. Наконец он дочитал до конца и отшвырнул пергамент в сторону, словно тот жёг ему пальцы.

— Мерзавец! — прошипел он сквозь зубы. — Грязный, вшивый монах! Да как он смеет!

Джулия, испуганная его тоном, отодвинулась от стола. Леопард, почувствовав напряжение, заворчал и прижал уши. Александр встал и начал ходить по комнате, сжимая и разжимая кулаки.

— «Антихрист в тиаре», — повторял он, задыхаясь от ярости. — «Аптекарь Сатаны»! «Чудовище разврата»! И это говорит монах! Монах, который должен целовать мои туфли и молиться за моё здравие! Да я сотру его в порошок! Я сотру в порошок весь этот проклятый монастырь Сан-Марко! Я покажу этому червю, кто есть наместник Христа!

Он остановился у окна и прижался лбом к холодному стеклу. Ярость постепенно уступала место холодному, расчётливому бешенству — тому состоянию, в котором Алек-

сандр был наиболее опасен. Савонарола. Джироламо Савонарола. Он слышал это имя и раньше, ещё когда был кардиналом. Какой-то сумасшедший доминиканец, который предсказывал конец света, обличал Медичи, призывал к покаянию. Тогда это казалось забавным курьёзом, темой для шуток за ужином. Но теперь этот сумасшедший осмелился напасть на папу. Публично. При тысячах свидетелей. И это меняло дело.

— Позвать ко мне Чезаре, — приказал он, не оборачиваясь. — Немедленно. И Бурхарда. И Феррари. Всех. Живо.

Через полчаса в малом кабинете папы собрался военный совет. Чезаре, облачённый в чёрный бархат, стоял у камина, скрестив руки на груди, и слушал отца с выражением холодного внимания на лице. Датарий Феррари, нервно теребя свой свиток, сидел на краешке стула, готовый записывать распоряжения. Церемониймейстер Бурхард, как всегда, стоял в тени колонны, и его перо уже бегало по пергаменту, фиксируя каждое слово. Кардинал Алессандро Фарнезе, приглашённый как советник по политическим вопросам, сидел в кресле с бокалом вина и задумчиво смотрел в потолок.

— Положение серьёзное, — начал Александр, расхаживая по комнате. — Этот монах не просто богохульствует. Он подрывает основы нашей власти. Он призывает народ не повиноваться папе. Он сеет смуту в самой богатой и влиятельной республике Италии. Если мы не остановим его сейчас, завтра его проповеди подхватят в Венеции, в Милане, в Неа-

поле. А послезавтра какой-нибудь безумец с кинжалом явится в Рим, чтобы «исполнить волю Божию» и убить антихриста. Ты понимаешь это, Чезаре?

Чезаре кивнул. — Понимаю. Этот монах опасен. Он фанатик. Фанатики не боятся ни золота, ни кинжала. Они боятся только одного — Бога. И если он верит, что Бог на его стороне, нам будет трудно его запугать.

— Запугать? — Александр резко обернулся к сыну. — Я не собираюсь его пугать. Я собираюсь его уничтожить. Стереть с лица земли. Раздавить, как вошь. Но прежде, — он поднял указательный палец, — прежде мы должны сделать всё по закону. По церковному закону. Чтобы никто не мог сказать, что папа расправился с пророком без суда и следствия.

Фарнезе отпил вина и одобрительно кивнул. — Мудрое решение, ваше Святейшество. Савонарола имеет огромную популярность в народе. Если мы просто убьём его, он станет мучеником. Его последователи будут почитать его как святого, и его смерть вдохновит новых фанатиков. Нужно действовать иначе: сначала дискредитировать, затем осудить, и только потом — наказать. Чтобы все видели: это не месть, а правосудие.

— Именно! — Александр хлопнул ладонью по столу. — Именно так мы и поступим. Сначала мы пригласим его в Рим. Напишем любезное письмо. Пусть приедет и лично изложит свои пророчества перед папским судом. Если он при-

едет — он попадёт в ловушку. Если откажется — мы обвиним его в непослушании папской власти. В любом случае он проиграет.

— Но он не приедет, — возразил Чезаре. — Он не настолько глуп. Он знает, что в Риме его ждёт либо тюрьма, либо яд.

— Тем лучше! — усмехнулся Александр. — Тогда мы нанесём удар с другой стороны. Мы напишем письмо флорентийской Синьории. Потребуем, чтобы они запретили ему проповедовать. Пусть заткнут рот этому крикуну. Если они откажутся — мы наложим на Флоренцию интердикт. Все церкви города будут закрыты. Ни месс, ни причастий, ни отпеваний. Флорентийские купцы, которые торгуют по всей Европе, окажутся вне закона. Их товары будут конфискованы, их души — прокляты. Долго ли они продержатся без церковных таинств? Без исповеди? Без отпущения грехов?

Фарнезе снова кивнул. — Интердикт — это сильное оружие. Оно может сломить сопротивление Синьории. Но есть одна проблема: флорентийцы упрямы. Они ненавидят, когда им диктуют из Рима. Это у них в крови ещё со времён Данте. Если мы надавим слишком сильно, они могут взбунтоваться и поддержать Савонаролу назло нам.

— Значит, нужно надавить ровно настолько, чтобы они испугались, но не настолько, чтобы взбунтовались, — произнёс Александр. — Мы будем действовать постепенно. Сначала — запрет на проповеди. Потом — требование явиться

в Рим. Потом — обвинение в ереси. Мы зажмём его в клещи, и он сам сломается. Или его сломают сами флорентийцы, когда поймут, что он ведёт их к гибели.

Он снова сел за стол и придвинул к себе чистый лист пергамента. — Франческо! — позвал он секретаря. — Садись и пиши. Мы составим три письма. Первое — Савонароле. Вежливое, полное отеческой заботы. Пусть приедет в Рим для духовной беседы. Второе — флорентийской Синьории. Твёрдое, но не угрожающее. Пусть запретят ему проповедовать до окончания расследования. Третье — генералу доминиканского ордена. Пусть напомнит своему подчинённому о послушании. И пусть все три письма будут доставлены как можно скорее.

За следующие два часа Александр продиктовал три послания, каждое из которых было маленьким шедевром дипломатического лицемерия. Письмо Савонароле начиналось словами: «Возлюбленному сыну во Христе, брату Джироламо, приветствие и апостольское благословение...» — и дальше следовали абзацы, полные елейных фраз о пастырской любви, о радости слышать о его благочестии и о желании лично обсудить его пророчества. Ни слова упрёка, ни намёка на угрозу. Только сахар и мёд — достаточно сладкие, чтобы усыпить бдительность, и достаточно липкие, чтобы поймать жертву в западню.

Письмо Синьории было выдержано в ином тоне. В нём папа выражал «глубокую озабоченность» тем, что некий мо-

нах сеет во Флоренции смуту, призывая к неповиновению церковным властям. Он напоминал, что город обязан своим процветанием папскому покровительству, и намекал, что это покровительство может быть отозвано, если Синьория не примет мер. Он не требовал прямо — он лишь «рекомендовал» и «советовал». Но каждая фраза дышала скрытой угрозой, как туча, готовая разразиться громом и молнией.

Письмо генералу ордена было самым коротким и самым жёстким. Папа напоминал о монашеском обете послушания, о необходимости смирения и о том, что гордыня есть первейший из смертных грехов. Он требовал немедленно призвать брата Джироламо к порядку, а в случае неповиновения — прислать его в Рим под конвоем, «для вразумления и исправления».

Когда письма были запечатаны и отправлены с гонцами, Александр позволил себе немного расслабиться. Он приказал подать ещё вина и устроился в кресле у камина. На душе у него было спокойно, но он гнал от себя тревогу. В конце концов, что такое какой-то монах? Червяк, которого можно раздавить одним движением пальца. Пророков и раньше хватало — и где они теперь? Одни сожжены, другие забыты, третьи объявлены сумасшедшими. Этого ждёт та же участь.

Но Чезаре, стоявший у окна и глядящий на залитый дождём двор, думал иначе. Он знал, что фанатики — самая опасная порода людей. Их нельзя купить. Их нельзя запугать. Их можно только убить. И чем раньше это будет сделано, тем

лучше.

— Отец, — произнёс он, не оборачиваясь, — разреши мне поехать во Флоренцию.

Александр поперхнулся вином. — Что? Во Флоренцию? Зачем?

— Чтобы решить проблему на месте. Ты сам говорил: письма — это хорошо, но они могут не подействовать. Флорентийцы упрямы. Савонарола — фанатик. Нужен кто-то, кто будет там, кто сможет надавить на Синьорию лично, кто сможет... — он сделал паузу, — кто сможет сделать то, что не могут сделать письма.

Александр задумался. Он понял, что имеет в виду сын. Не переговоры, не дипломатию — а кинжал, яд, несчастный случай. То, что Чезаре умел делать лучше всего. Но риск был слишком велик. Если Чезаре попадётся, если его разоблачат, это будет катастрофа. Папский сын, убивающий пророка? Такой скандал может стоить ему тиары.

— Нет, — произнёс он наконец. — Пока нет. Мы подождём ответа на письма. Посмотрим, как отреагирует Синьория. Если они подчинятся — отлично. Если нет — тогда мы будем думать о других мерах. А пока, — он встал и положил руку на плечо сына, — займись лучше делами в Романье. Мне нужно, чтобы к весне все тамошние замки были под нашим контролем. Это важнее, чем какой-то монах.

Чезаре кивнул, но в его глазах по-прежнему горел холодный, недобрый огонь. Он не привык отступать и не привык

ждать. Но приказы отца пока ещё были для него законом. Пока ещё.

Последующие недели стали для Рима временем напряжённого ожидания. Гонцы скакали во Флоренцию и обратно, привозя новости. Первое письмо, отправленное Савонароле, осталось без ответа — монах даже не удостоил папу объяснениями, почему он не может приехать. Зато его проповеди стали ещё яростнее. Теперь он обличал уже не только Александра, но и всю римскую курию, называя её «вертепом разбойников», «синагогой Сатаны», «блудницей вавилонской, упившейся кровью мучеников». Он предсказывал, что скоро Господь пошлёт на Италию нового Кира — иноземного царя, который сметёт с лица земли папский Рим и очистит Церковь огнём и мечом.

Второе письмо, адресованное Синьории, также не возымело немедленного действия. Флорентийские правители, напуганные популярностью Савонаролы и опасавшиеся народного бунта, ответили уклончиво: они выразили глубочайшее почтение его святейшеству, заверили, что принимают все возможные меры для поддержания порядка, но при этом не сделали ничего, чтобы реально ограничить проповеди монаха. Это была классическая флорентийская дипломатия — говорить одно, делать другое и ждать, чем всё кончится.

Третье письмо, генералу доминиканцев, натолкнулось на глухую стену. Генерал ордена, Джоаккино Торриани, был человеком слабым и нерешительным. Он боялся и папы, и Са-

вонаролы, и предпочитал не вмешиваться, надеясь, что проблема рассосётся сама собой.

К концу декабря Александр понял, что его письма не достигли цели. Савонарола продолжал проповедовать. Его популярность росла. Флоренция всё больше склонялась к поддержке пророка, видя в нём не только духовного лидера, но и политического вождя, способного противостоять папскому диктату. Нужно было действовать решительнее.

Двадцать восьмого декабря, в день памяти Невинно Убиенных Младенцев Вифлеемских, Александр собрал расширенную консисторию. В Зале Консистории, украшенном фресками с изображениями мучеников, собрались все кардиналы, находившиеся в Риме. На повестке дня был один вопрос: дело брата Джироламо Савонаролы из Флоренции.

Папа, облачённый в полное папское облачение, с тиарой на голове и посохом в руке, восседал на троне и слушал доклады. Первым выступил кардинал-инквизитор, зачитавший длинный список обвинений против Савонаролы: ересь, раскол, неповиновение папской власти, лжепророчество, подстрекательство к мятежу. Затем выступил датарий Феррари, зачитавший ответы Синьории и генерала доминиканцев — уклончивые, двусмысленные, явно свидетельствующие о нежелании сотрудничать. Затем поднялся кардинал делла Ровере — он специально прибыл из Остии, чтобы присутствовать на этом заседании, — и произнёс короткую, но едкую речь, в которой обвинил папу в нерешительности и при-

звал к немедленным, самым суровым мерам.

Александр выслушал их всех молча, не перебивая. Когда последний оратор закончил и сел на место, он поднялся с трона. В зале воцарилась тишина.

— Братья мои во Христе, — начал он, и его голос, низкий и спокойный, разнёсся под сводами, — я выслушал вас. Я понял вашу озабоченность. И я разделяю её. Дело Савонаролы — это не просто дело одного мятежного монаха. Это дело о самом принципе папской власти. Если мы позволим какому-то доминиканцу из Флоренции безнаказанно поносить наместника Христа, то завтра это сделает каждый приходской священник, каждый бродячий проповедник, каждый еретик, возомнивший себя пророком. Мы не можем этого допустить.

Он сделал паузу, обвёл взглядом замерших кардиналов. — Посему я, Александр Шестой, папа, раб рабов Божьих, властью, данной мне свыше, объявляю брата Джироламо Савонаролу виновным в ереси, расколе и неподчинении апостольской власти. Я запрещаю ему проповедовать, писать и распространять свои сочинения. Я требую, чтобы он немедленно явился в Рим для покаяния и суда. А если он откажется, я объявляю его отлучённым от Церкви и предаю его душу Сатане на вечные муки. И пусть все верные сыны Церкви знают: тот, кто слушает его, — слушает еретика. Тот, кто поддерживает его, — сам становится еретиком. Тот, кто укроет его, — разделит его участь.

Он сел. В зале раздались аплодисменты — сначала робкие, затем всё более громкие. Кардиналы вставали со своих мест, кланялись и выражали свою поддержку. Только делла Ровере остался сидеть, и на его губах играла презрительная усмешка. Он знал, что анафема — это сильный ход, но не достаточный. Савонаролу не испугаешь отлучением. Он сам давно отлучил папу от Церкви — по крайней мере, в своих проповедях. Нужно было нечто иное. Нечто более материальное.

И это иное не заставило себя ждать.

Весна 1493 года принесла в Рим новые вести. Флоренция, напуганная угрозой интердикта и папского отлучения, начала колебаться. Синьория раскололась: часть её членов по-прежнему поддерживала Савонаролу, часть — требовала примирения с Римом. Народ тоже разделился. У монаха появились враги — «серые», как их называли во Флоренции, — которые насмеялись над его пророчествами, обвиняли его в лицемерии и требовали изгнания. По ночам на стенах домов появлялись оскорбительные надписи в адрес пророка. Несколько раз его пытались убить — но безуспешно.

Савонарола, однако, не сдавался. Он продолжал проповедовать — теперь уже тайно, в монастыре Сан-Марко, собирая тысячи последователей. Он писал письма королям и императорам, призывая их созвать Вселенский Собор, который низложит «антихриста в тиаре». Он готовил своих сторонников к решающей битве — к «костру тщеславия», на котором

должны были сгореть все предметы роскоши, все книги, все картины, все украшения, напоминающие о мирской суете.

Александр следил за этими новостями с нарастающим раздражением. Монах всё ещё был жив. Монах всё ещё проповедовал. Монах всё ещё представлял угрозу. И с каждым месяцем эта угроза становилась всё серьёзнее. Потому что Савонарола был не просто критиком папства. Он был символом. Знаменем. Надеждой всех тех, кто устал от коррупции, разврата и цинизма римской курии. И таких людей становилось всё больше.

Однажды вечером, в начале апреля, Александр сидел в своих покоях и перечитывал очередное донесение из Флоренции. Донесение было тревожным: Савонарола публично отказался явиться в Рим, назвав папское приглашение «ловушкой сатанинской», и призвал флорентийцев готовиться к осаде. Папа отшвырнул письмо и в бешенстве ударил кулаком по столу.

— Он не едет! — закричал он. — Он не едет! И они его не выдают! Они все там заодно! Все! Вся эта проклятая республика! Ну что ж... — он замолчал, переводя дыхание. — Если они не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Франческо!

Секретарь, дрожавший у дверей, подскочил. — Да, ваше Святейшество?

— Пиши новый указ. Савонарола отлучается от Церкви. Официально. С публичным оглашением во всех храмах Рима. И буллу об отлучении разослать по всем епархиям Ита-

лии. Пусть все знают: этот человек — еретик, и любой, кто даст ему приют, хлеб или воду, сам будет отлучён. А если и это не поможет... — он сделал паузу и посмотрел на Чезаре, стоявшего у камина. — Тогда мы пошлём во Флоренцию не буллы, а кое-что другое.

Чезаре понял без слов. Он кивнул и вышел из комнаты.

А во Флоренции, в тесной келье монастыря Сан-Марко, Джироламо Савонарола стоял на коленях перед распятием и молился. Он знал, что папская анафема уже в пути. Он знал, что силы его врагов растут. Он знал, что смерть подбирается всё ближе — в образе ли наёмного убийцы, в образе ли палача, в образе ли костра на площади Синьории. Но он не боялся. Он верил, что Господь на его стороне. И он был готов идти до конца.

— Господи, — шептал он в полутьме, освещённой лишь тусклым огоньком лампы, — если я ошибался, если я был не прав, если я ввёл людей в заблуждение — накажи меня одного. Но если я был прав... если Ты действительно говорил через меня... тогда покарай их. Покарай этого антихриста в тиаре. Покарай эту блудницу вавилонскую. Очисти Церковь Твою огнём и мечом. И пусть всё будет по воле Твоей, а не по моей.

Лампада мигнула и погасла, погрузив келью во тьму. И в этой тьме пророк остался один на один со своим Богом — и со своей судьбой, которая была уже предрешена.

Глава 6. «Икона греха»

Лето 1493 года стало для Рима временем небывалого строительного бума. Под жарким итальяйским солнцем, плавившим свинец на крышах и заставлявшим мостовые дыметься испарениями, повсюду кипела работа. Стучали молотки каменщиков, скрипели лебёдки, поднимавшие на стены глыбы травертина, визжали пилы в руках плотников, обтёсывавших брёвна для строительных лесов. Тучи белой мраморной пыли висели над площадями, оседая на листьях платанов и на одежде прохожих. Рим перестраивался. Рим обновлялся. Рим становился достойным своего новоголадыки.

Александр VI, движимый ненасытным честолюбием и не менее ненасытным эстетическим чувством, затеял грандиозное переустройство Ватиканского дворца. Старые покои, возведённые при Николае V, казались ему слишком скромными, почти аскетичными. Полустёртые фрески кисти безвестных мастеров, потемневшие от времени балки потолков, узкие окна, пропускавшие слишком мало света, — всё это не соответствовало величию дома Борджиа. Папа желал, чтобы его резиденция сияла золотом и пурпуром, чтобы стены её были покрыты изображениями, прославляющими не только Бога, но и его наместника на земле, чтобы каждый входящий в эти залы замирал в благоговейном трепете, ощущая себя не в доме священника, а во дворце императора.

Для осуществления этого замысла были призваны лучшие мастера, каких только можно было сыскать в Италии. Из Умбрии прибыл Пинтуриккьо — Бернардино ди Бетто, прозванный так за малый рост и невзрачную внешность, но обладавший кистью, способной творить чудеса. Он уже был известен своими работами в Сикстинской капелле, где трудился бок о бок с самим Перуджино, и теперь папа поручил ему дело беспрецедентное: заново расписать шесть парадных залов Апостольского дворца, тех самых, что позже войдут в историю под именем «Апартаментов Борджиа».

Пинтуриккьо прибыл в Рим в начале мая, когда весна уже уступала место изнуряющей духоте приближающегося лета. Это был человек лет сорока, маленький, щуплый, с лицом, изрытым оспой, и тихим, вкрадчивым голосом. Он говорил мало, больше слушал, а когда брался за кисть, полностью уходил в работу, забывая о еде и сне. Впрочем, под этой скромной внешностью скрывался острый ум царедворца, отлично понимавшего, кто ему платит и чего от него ждут. Пинтуриккьо знал, что его задача — не просто украсить папские покои библейскими сценами, как того требовала традиция, но создать нечто большее. Грандиозный живописный панегирик. Иконографическую программу, в которой величие Церкви будет неразрывно сплетено с величием дома Борджиа.

Работа началась с Зала Таинств — просторной прямоугольной комнаты, где папа обычно принимал гостей перед

мессой. Стены зала были расчищены от старых фресок, покрыты свежей штукатуркой и размечены углём на секции — «giornate», как называли их живописцы, имея в виду тот объём работы, который можно выполнить за один световой день, пока штукатурка ещё остаётся влажной. В первый же день Пинтуриккьо представил папе эскизы, выполненные на тонких листах пергамента: здесь должно было быть «Воскресение Христово», там — «Благовещение», там — «Сошествие Святого Духа». Сюжеты были традиционны, но трактовка их была нова. В каждой сцене, среди ликов апостолов и ангелов, должны были появиться портреты реальных людей — самого папы, его детей, его приближённых. Так поступали уже флорентийские мастера, вводя в свои фрески портреты заказчиков, но Пинтуриккьо намеревался пойти дальше. Он намеревался стереть саму границу между небесным и земным, между горним миром святых и дольным миром Борджиа.

Александр, рассматривая эскизы, долго молчал. Он стоял посреди пустого зала, где пахло известью и сырой штукатуркой, и переводил взгляд с одного рисунка на другой. Пинтуриккьо, стоявший рядом, нервно теребил край своего рабочего фартука, испачканного красками. Наконец папа заговорил:

— Это всё хорошо, Бернардино. Очень хорошо. Благочестиво. Возвышенно. Но мне кажется, здесь чего-то не хватает. Чего-то... личного. Ты понимаешь, о чём я?

Художник наклонил голову, ожидая пояснений. Александр прошёлся по залу, остановился перед стеной, предназначенной для «Воскресения», и продолжил:

— Вот здесь, в сцене Воскресения, обычно изображают Христа, выходящего из гроба, и стражников, падающих ниц в ужасе. Это прекрасно. Но я хочу, чтобы там были и другие фигуры. Свидетели. Те, кто первыми увидели Воскресшего. Ты помнишь, кто это был согласно Писанию?

— Мария Магдалина, ваше Святейшество, — тихо ответил Пинтуриккьо. — И другие жёны-мироносицы.

— Вот именно. Мария Магдалина. — Александр помолчал. — Я хочу, чтобы у моей Марии Магдалины было конкретное лицо. Лицо женщины, которую я знаю. Которую я... ценю. Ты понимаешь меня?

Пинтуриккьо понял. Он знал, что папа имеет в виду Джулию Фарнезе, свою официальную фаворитку, ту самую златовласую красавицу, которую весь Рим за глаза называл «невестой Христовой» — намёк одновременно и на её статус папской любовницы, и на её неземную красоту. Мысль о том, чтобы изобразить её в образе святой, была кощунственной. Но Пинтуриккьо был не из тех, кто спорит с заказчиком, особенно если заказчик — папа.

— Это возможно, ваше Святейшество, — произнёс он осторожно. — Портретное сходство может быть достигнуто без ущерба для благочестивого характера изображения. Мария Магдалина, согласно преданию, была женщиной ред-

кой красоты. Синьора Джулия вполне может послужить моделью.

— Прекрасно. — Александр просиял. — Но это ещё не всё. Я хочу, чтобы в каждой сцене, во всех шести залах, присутствовал я сам. Не в аллегорической форме, не в виде символа, а прямо. Вот здесь, в «Благовещении», я буду коленопреклонённым заказчиком, как это делали старые мастера. Здесь, в «Диспуте святой Екатерины», я буду восседать на троне как судия. Здесь, в «Сошествии Святого Духа», я буду среди апостолов — ведь я их преемник, не так ли? И так во всём. Пусть всякий, кто войдёт в эти залы, увидит: папа Александр — не просто зритель священной истории. Он её участник. Её творец.

Художник, записывавший указания в маленькую книжечку, сбился на полуслове. То, что требовал папа, было неслышанно. Одно дело — поместить донатора где-нибудь в углу фрески, как это делали Медичи. Другое — ввести его в само священное действие, поставить рядом с апостолами и святыми, сделать полноправным участником библейских событий. Это было не просто новаторство. Это было богословское утверждение. Живописный эквивалент того тезиса о папской непогрешимости, который Александр уже провозгласил устно и теперь закреплял визуально.

— Ваше Святейшество, — осторожно начал Пинтуриккьо, — это потребует переработки всей композиции. И... некоторые могут счесть это... смелым решением.

— Некоторые? — Александр усмехнулся. — Некоторые всегда найдут, к чему придраться. Пусть их. Я не боюсь критики. Я — папа. Мои покои — это моя крепость. И я хочу, чтобы стены этой крепости говорили громче, чем все проповеди Савонаролы вместе взятые. Ты знаешь, что этот монах назвал меня антихристом? Так пусть же он увидит — или пусть ему расскажут, — что в Ватикане папа изображён рука об руку со святыми. Что его дочь Лукреция — вот она, в образе святой Екатерины. Что его сын Чезаре — вот он, в образе святого Себастьяна. Пусть мир узнает: Борджиа — это не просто семья. Это святое семейство.

С этого дня работа над фресками закипела с удвоенной энергией. Пинтуриккьо, вооружившись картонами и эскизами, целыми днями пропадал в папских покоях. Ему помогали подмастерья — молодые художники, приехавшие с ним из Умбрии, а также местные мастера, нанятые на месте. Они замешивали краски, наносили штукатурку, переносили рисунки с картонов на стены, а сам маэстро работал над лицами, вкладывая в них всё своё мастерство. Лица были его коньком. Именно по лицам узнавали руку Пинтуриккьо — живые, выразительные, словно подсмотренные украдкой на улицах и площадях.

И вот настал день, когда первая фреска — «Воскресение Христово» — была завершена. Это случилось в середине июля, в канун праздника святой Марии Магдалины, что было воспринято всеми как доброе предзнаменование. Па-

па, извещённый художником, прибыл в Зал Таинств в сопровождении свиты — кардиналов, секретарей, камергеров, а также самой Джулии Фарнезе, одетой в платье из золотой парчи, которое делало её похожей на живое изваяние.

Зрелище, открывшееся взорам собравшихся, было поистине ослепительным. Вся стена над алтарём, предназначенным для домашней капеллы папы, сияла красками — ультрамарином, стоившим дороже золота, киноварью, мерцавшей как рубины, охрой, напоминавшей о солнечном свете, и, главное, золотом — щедро наложенными листами сусального золота, которое покрывало нимбы, складки одежд и архитектурные детали. В центре композиции, на фоне скалы с отваленным камнем, стоял Христос — прекрасный, лучезарный, с белоснежной хоругвью в руке, символом победы над смертью. У его ног, в ужасе закрывая лица руками, падали римские стражники, облачённые в доспехи, списанные с настоящих доспехов папской гвардии. А чуть поодаль, на коленях, в молитвенном экстазе застыла Мария Магдалина.

И лицо этой Магдалины было лицом Джулии Фарнезе.

Сходство было поразительным, почти пугающим. Те же золотистые волосы, волнами ниспадающие на плечи. Тот же высокий, чистый лоб. Тот же изящный изгиб бровей, те же полные, чувственные губы, тронутые лёгкой улыбкой. Даже родинка на левой щеке, составлявшая особую гордость Джулии, была воспроизведена художником с фотографической точностью. Но главное — выражение лица. Оно было не про-

сто благочестивым. Оно было экстатическим. Оно дышало такой неземной, такой запредельной любовью, что каждый, кто смотрел на эту фреску, невольно задавался вопросом: к кому обращён этот взгляд — к Воскресшему Спасителю или к кому-то, стоящему за пределами изображения? К тому, кто будет смотреть на эту фреску каждый день? К тому, кто заказал её?

Джулия, увидев себя в образе святой, на мгновение замерла. Затем её лицо озарилось улыбкой — на сей раз не экстатической, а самой что ни на есть земной, торжествующей. Она захлопала в ладоши, как ребёнок, получивший долгожданную игрушку.

— О, Сантиссимо! — воскликнула она, оборачиваясь к папе. — Это же я! Вылитая я! Вы только посмотрите, какая красота! Маэстро Пинтуриккьо, вы превзошли самого себя!

Художник, стоявший в стороне, скромно поклонился. Он видел, как реагируют на его работу кардиналы, и реакция эта была неоднозначной. Асканио Сфорца, открыв рот, разглядывал фреску с выражением, в котором смешивались восхищение и ужас. Фарнезе, брат Джулии, одобрительно кивал, предвкушая, как укрепится положение его сестры при дворе. Но были и те, кто смотрел на изображение с плохо скрываемым отвращением. Кардинал Карафа, тот самый старый аскет, что уже пытался возражать против назначения Чезаре, стоял в углу залы, сжав губы в тонкую линию, и его глаза метали молнии. Он не произнёс ни слова, но всё его существо,

казалось, кричало: «Кошунство! Святотатство!».

Александр между тем подошёл к фреске вплотную. Он долго разглядывал лицо Магдалины, затем перевёл взгляд на лицо Христа. Потом отступил на несколько шагов, чтобы охватить взором всю композицию, и наконец произнёс то, что стало его окончательным вердиктом:

— Это великолепно. Это именно то, что я хотел. Здесь, в этом зале, мы будем служить мессы. И каждый раз, когда я буду поднимать гостию, я буду видеть это Воскресение. Видеть Христа, победившего смерть. И видеть красоту, сотворённую Богом и запечатлённую кистью мастера.

Он сделал паузу и добавил, обращаясь уже не столько к свите, сколько к самому себе, к истории, к вечности:

— Господь сотворил человека по образу и подобию Своему. Он даровал нам способность творить красоту. И эта фреска — не идолопоклонство, не язычество. Она — гимн Творцу. Ибо что есть красота Джулии, как не отблеск красоты Божественной? Я смотрю на неё — и вижу славу Господню. Я молюсь перед этим образом — и возношусь душой к небесам. И пусть те, кто называет это грехом, посмотрят на свои собственные души. Найдут ли они там хотя бы искру той красоты, что сияет здесь?

Свита разразилась аплодисментами. Кардиналы, епископы, секретари — все наперебой принялись восхвалять и фреску, и папу, и синьору Джулию. Сравнивали Пинтуриккьо с Апеллесом и Фидием. Говорили, что Рим наконец-то

обрёл живописца, достойного его величия. Предрекали, что слава этих фресок переживёт века.

И они не ошиблись. Фрески действительно пережили века. Они и сейчас украшают Апартаменты Борджиа, и туристы со всего мира глазают на них, слушая рассказы гидов о «чудовище разврата», который изобразил свою любовницу в виде святой. Но тогда, в июле 1493 года, в только что расписанном Зале Таинств, царила атмосфера триумфа. Папа устроил импровизированный приём — слуги принесли вино, фрукты, сладости. Кардиналы, разбившись на группки, обсуждали фрески, обменивались впечатлениями. Джулия, сияя как новая монета, принимала комплименты. Пинтуриккьо, получив из рук папы увесистый кошель с золотом, уже обдумывал эскизы для следующего зала — Зала Святых.

И лишь один человек в этой толпе чувствовал себя не в своей тарелке. Это был кардинал Карафа. Он не притронулся к вину. Не стал восхвалять фрески. Он стоял в стороне, молчаливый и мрачный, как надгробное изваяние, и его старческий, но всё ещё острый ум лихорадочно работал. Что он видит перед собой? Папа, только что отлучивший от Церкви Савонаролу за ересь, сам творит ересь. Он ставит себя вровень с апостолами. Он приравнивает свою блудницу к святой. Он превращает храм в капище, а богослужение — в культ собственной личности. Что это, как не антихристовы деяния, предсказанные пророками?

Но Карафа молчал. Он понимал, что сейчас не время и

не место для обличений. Он был стар и умудрён опытом. Он знал, что открытое противостояние папе равносильно самоубийству. Микеле пытался — и где он теперь? В могиле. Савонарола пытается — и чем это кончится? Кострищем. Нет, нужно ждать. Нужно собирать свидетельства. Нужно писать. Нужно готовить почву для будущего суда — если не земного, то небесного.

Вечером того же дня, когда приём закончился и гости разошлись, Александр вернулся в Зал Таинств один. Он хотел ещё раз, без свидетелей, без льстецов и критиков, посмотреть на фреску. Слуга принёс канделябр с горящими свечами и удалился, оставив папу наедине с живописью. Александр сел в кресло, стоявшее напротив «Воскресения», и долго смотрел на лица — Христа, Магдалины-Джулии, падающих ниц стражников. Мягкий, колеблющийся свет свечей оживлял изображения, делал их почти реальными, объёмными. Казалось, ещё мгновение — и фигуры сойдут со стены, чтобы приветствовать своего создателя.

О чём думал Александр в эти минуты? Может быть, о том, что он достиг всего, о чём мечтал в юности. Может быть, о том, что жизнь его удалась. Может быть, о том, что он, сын неизвестного испанского дворянина, стал владыкой мира, и теперь его лик будут видеть ангелы на стенах его собственного дворца. А может быть, о том, что где-то там, за сотни миль отсюда, в душной келье флорентийского монастыря, его враг Савонарола сейчас тоже не спит. Тоже смотрит в темноту. И

тоже думает о нём.

Эта мысль заставила папу нахмуриться. Савонарола. Этот червь всё ещё грыз его покой. Несмотря на анафему, несмотря на запрет проповедей, несмотря на все принятые меры, монах продолжал свою подрывную деятельность. Его сторонники во Флоренции не только не убавились в числе, но, казалось, стали ещё более фанатичными. Они называли себя «плаксами» — *piagnoni*, — потому что постоянно плакали и каялись в грехах. Они отказывались от роскоши, жгли на кострах картины и книги, носили только чёрное и серое. Они превратили центр Возрождения в мрачный монастырь, и виноват в этом был один человек — Джироламо Савонарола.

Александр поднялся с кресла и подошёл к фреске. Провёл рукой по гладкой, ещё чуть влажной поверхности. Его палец скользнул по золотому нимбу Магдалины, по её лицу, по губам, тронутым улыбкой. «Джулия», — прошептал он. — «Моя прекрасная грешница. Моя святая».

И вдруг, словно молния, его пронзила мысль. Фреска. Савонарола. Вот оно! Вот оружие, которым можно уничтожить пророка! Не анафема, не отлучение, не угроза интердикта — всё это лишь укрепляет его авторитет мученика. Нужно иное. Нужно доказать, что Савонарола — не пророк, а шарлатан. Не святой, а лицемер. Нужно публичное испытание, которое покажет всем: Бог не на его стороне.

Эта идея, внезапно вспыхнувшая в мозгу Александра, была столь блестящей и столь коварной, что он невольно рас-

смеялся. Испытание огнём! Ordinarmento del Fuoco! Старый добрый обычай, уходящий корнями в тёмные века, когда веру проверяли раскалённым железом и кипящей водой. Савонарола утверждает, что его пророчества от Бога? Пусть докажет это, пройдя сквозь огонь. Пусть войдёт в пылающий костёр и выйдет из него невредимым, как библейские отроки в печи вавилонской. А если не выйдет — значит, он лжепророк, и смерть его будет заслуженной карой.

План был великолепен, но требовал доработки. Нужно было, чтобы вызов исходил не от папы — это выглядело бы как месть. Нужно, чтобы инициаторами выступили сами флорентийцы. Например, францисканцы — давние соперники доминиканцев, всегда готовые подставить им ножку. Если подбросить им эту идею, если пообещать поддержку из Рима, они наверняка согласятся. И тогда Савонарола окажется перед страшным выбором: либо отказаться от испытания и признать себя трусом и лжецом, либо согласиться и погибнуть в пламени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.